Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Филологический факультет

На правах рукописи

Поселягин Николай Владимирович

Формирование российского структурализма (1956–1964)
и рецепция идей Тартуско-Московской семиотической школы
в 1990–2000-е годы

Специальности:
10.01.01 – Русская литература
10.01.08 – Теория литературы. Текстология

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Научный руководитель
доктор филологических наук, профессор
Голубков Михаил Михайлович

Москва
2010

Оглавление

Введение 3

Глава 1:

Формирование российского структурализма (1956–1964)

§ 1. «Долотмановский» период российского структурализма (общий обзор) 11

§ 2. Московский кружок и Структурализм как мировоззрение 25

§ 3. А.Н.Колмогоров и М.Л.Гаспаров: структурализм как научный метод 51

§ 4. Поэтика выразительности А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова 62

§ 5. Ранний Ю.М.Лотман и зарождение российского варианта семиотики 82

(Дополнение к параграфу о Ю.М.Лотмане) 110

Глава 2:

Рецепция идей Тартуско-Московской семиотической школы в 1990–2000-е годы

Вступление 116

§ 1. Некоторые особенности научного метода Р.Д.Тименчика 125

§ 2. Некоторые особенности научного метода А.Л.Зорина 136

§ 3. Некоторые особенности научного метода О.А.Проскурина 149

§ 4. Стратегия С.Л.Козлова на посту заведующего отделом теории журнала «Новое литературное обозрение» 165

Заключение 202

Литература 205

ВВЕДЕНИЕ

Изучение истории литературы немыслимо без изучения методологических принципов анализа – и конкретного литературного текста, и литературного процесса в целом. Выбор набора методик, категориального аппарата, самого угла зрения, под которым ведется исследование, во многом зависят от того, к какому литературоведческому направлению (кружку, школе) себя относит исследователь.

В данной работе будет идти речь о начальном периоде существования одной из главных российских литературоведческих школ XX века – Тартуско-Московской семиотической школы[1], – периоде, когда сама школа и ее основные принципы только формировались. Хронологические рамки этого периода – с 1956–1958 годов (деятельность Вяч.Вс.Иванова, В.А.Успенского, В.Н.Топорова, В.Ю.Розенцвейга; складывание Московского кружка) по 1964 год (первая Летняя школа по вторичным моделирующим системам, начало формирования собственно Тартуско-Московской школы). Первая Летняя школа знаменует собой начало нового этапа, рассмотрение которого требует отдельного изучения. Поэтому настоящее исследование доведено только до выхода в свет книги Ю.М.Лотмана «Лекции по структуральной поэтике: Введение. Теория стиха» (Тарту, 1964): хотя хронологически ее публикация совпала со временем проведения первой Летней школы, однако по сути она является своеобразной «точкой поворота» от Московского периода существования российского структурализма к Тартуско-Московскому.

Во второй же главе пойдет речь о том, как переосмыслялся комплекс идей, сформулированных главными теоретиками российского структурализма на рубеже 1960-х годов, в российском литературоведении 1990–2000-х годов. Показывается, что те методологические принципы историко-литературного анализа, которые были сформулированы

---

[1] Термин «Тартуско-Московская школа» в данной работе употребляется как традиционное обозначение этого направления в целом. По отношению к отдельным группам структуралистов начала 1960-х годов будут применяться иные термины («Московский кружок», «группа А.Н.Колмогорова» и т.д.) как более соответствующие сути явлений.

участниками Тартуско-Московской школы (в первую очередь, Ю.М.Лотманом), оказались весьма актуальны для построения историй литературы на рубеже XXI века.

Как известно, Тартуско-Московская школа представляла собой сложное и неоднородное явление. Это заметно в первую очередь в организационном плане: Московский кружок лингвистов-структуралистов и собственно Тартуская школа Ю.М.Лотмана (он сам, З.Г.Минц, Б.Ф.Егоров и их ученики, участники Тартуских студенческих конференций и др.). Такое разделение было обусловлено не только организационными и географическими факторами. Причины, по которым это произошло, можно найти, рассматривая предыдущий период развития российского структурализма, – их анализу и посвящена настоящая работа.

Обычно принято считать, что отличия двух основных групп, составлявших Тартуско-Московскую школу, вызваны тем, что москвичи были лингвистами, воспитанными на идеях Московского лингвистического кружка и западных течений лингвистического структурализма, а старшие тартуанцы (по происхождению и образованию – ленинградцы) являлись литературоведами, наследниками формальной школы и близких ей филологов 1920–1930-х годов (Г.А.Гуковский, ВМ.Жирмунский, М.К.Азадовский, П.Г.Богатырев и др.). Традиция такого истолкования идет от статьи Б.А.Успенского «К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы» (1981)[2], где это сопоставление развернуто подробно:

«Мы, москвичи, как правило, лингвисты, и пришли к семиотике от лингвистики. В дальнейшем некоторые из нас более или менее специально занялись литературой, но лингвистическая платформа, лингвистические интересы всегда оставались на первом месте. Мы смотрели на мир глазами лингвиста. Ю.М.Лотман и З.Г.Минц – литературоведы, которые пришли к тем же проблемам, так сказать, с другой стороны. Если москвичи –

[2] Краткую библиографию (основные аналитические работы по Тартуско-Московской школе 1960-х годов) см. в параграфах, посвященных «долотмановскому» периоду российского структурализма и Ю.М.Лотману.

лингвисты, в какой-то мере занявшиеся литературоведением, то представители тартуской группы – литературоведы, в какой-то мере занявшиеся лингвистикой. Это различие в культурной платформе на первых порах очень чувствовалось, но оно оказалось и очень плодотворным – обе стороны взаимно обогащали, заражали друг друга своими интересами. Так, в частности, встреча с литературоведением определила интерес москвичей-лингвистов к *тексту* и к культурному *контексту*, т.е. к условиям функционирования текста. Между тем, встреча с лингвистами определила интерес литературоведов к *языку* как к генератору текстов, механизму их порождения. <…> речь идет не только об истоках той или иной культурной традиции, но о *непосредственной* преемственности. Так, Ю.М.Лотман учился у Гуковского, Жирмунского, Проппа. Вместе с тем, мы непосредственно общались с Р.О.Якобсоном, П.Г.Богатыревым, М.М.Бахтиным. П.Г.Богатырев до самой своей смерти был непременным участником наших конференций и занятий. Р.О.Якобсон принимал участие в одной из тартуских летних школ (в 1966 г. – мы справляли его 70-летие) и пристально следил за нашими занятиями. М.М.Бахтин не мог принимать участия в наших встречах (у него не было ноги, и он был практически немобилен), но живо интересовался нашими работами. Все они оказали на нас большое влияние и служили как бы связующим звеном между нами и нашими предшественниками. Итак, тартуско-московская семиотическая школа объединяет две традиции – московскую лингвистическую и ленинградскую литературоведческую, которые взаимно обогащают друг друга» [Успенский Б. 1981/1994: 266, 268].

Все это совершенно справедливо, но этого недостаточно. Б.А.Успенский в данном случае применяет классический прием российской семиотики: описывает объект методом бинарных оппозиций. В действительности ситуация была сложнее: в первой половине 1960-х годов можно выделить несколько направлений, которые в той или иной мере можно отнести к структурализму, каждое со своей методологией анализа,

терминологией и идеологической подоплекой. Не вдаваясь в проблемы генезиса тех или иных раннеструктуралистских течений (это требует отдельного исследования), можно, тем не менее, рассмотреть каждое из них по трем категориям: особенности категориального аппарата, особенности мировоззрения и взаимосвязь с остальными течениями. Попытка провести такой анализ и представлена в данной работе.

Мировоззрение как объект анализа необходимо оговорить особо. Обычно при анализе методологии какого-либо научного течения такая зыбкая категория, как мировоззрение, в расчет не берется. В настоящем исследовании было решено от этого принципа отойти по ряду причин.

Во-первых, как известно, особенности мировоззрения обуславливают и выбор объекта, и выбор исследовательской оптики. Следовательно, если изолироваться от изучения мировоззрения и проводить анализ исключительно на методологическом уровне, то структура и принципы применения данного комплекса методов могут оказаться непонятными и, как результат, искаженными. Так произошло в известной полемике 1989–1993 годов между Б.М.Гаспаровым и Ю.М.Лотманом (и несколькими другими участниками Тартуско-Московской школы) – подробнее о ней см. в параграфе о «долотмановском» периоде.

Во-вторых (это следует из предыдущего пункта), мировоззренческий уровень – глубинный по отношению к остальным уровням, в том числе и к тому, на котором происходит адаптация или, наоборот, отвержение тех или иных элементов унаследованной традиции. Следовательно, анализ мировоззрения какого-либо научного направления в синхроническом плане может дать для исследователя гораздо больше, чем поиск предтеч и источников этого направления (хотя, безусловно, анализ предшествующей традиции тоже необходим). Например, без мировоззренческого анализа будет непонятно, почему наследнику формалистов Ю.М.Лотману оказались ближе М.М.Бахтин и отец П.А.Флоренский, чем В.Б.Шкловский и В.Я.Пропп, а

Московский кружок дистанцировался от своего непосредственного предшественника – И.А.Мельчука.

Наконец, первыми, кто в российской традиции начал эффективно применять анализ мировоззрения с помощью категориального аппарата, сходного с тем, который применяется в настоящем исследовании, были лидеры Московского кружка В.Н.Топоров и Вяч.Вс.Иванов. Если воспринимать труды Тартуско-Московской школы как важное и актуальное наследие – а автор данной работы именно так его и воспринимает, – то изучение мировоззренческого, или общеидеологического (в настоящем исследовании это синонимы), основания российского структурализма и семиотики оказывается необходимым не только в научном, но в этическом отношении.

При этом нужно оговориться, что подобное абстрагирование от предыстории движения и от его дальнейшего развития после 1964 года (а также от конкретно-биографических подробностей взаимодействия участников Тартуско-Московской школы между собой и с окружающими их людьми) несколько искусственно. Оно обусловлено требованием наглядности анализа и невозможностью охватить все уровни и элементы такого большого и многообразного явления, как Тартуско-Московская школа, в пределах одной работы.

Обращение к мировоззренческому уровню и выбор хронологических рамок исследования вызваны еще одним обстоятельством, о котором необходимо вкратце упомянуть. Как известно, это время (Оттепель, условно 1956–1964 годы) можно назвать временем утопического сознания, которое проявлялось, в том числе, в ряде сфер и отраслей науки. Для этого сознания были характерны, помимо прочего, такие категории, как универсализм и рационализм: мир, существующий на материалистических основаниях, разумен и принципиально познаваем, развитие научного мышления и совершенствование категориального аппарата науки способны привести к познанию основ мира и, как следствие, к воспроизведению его (по сути,

демиургическому). Задача конкретных наук в этом случае – познать глубинные основы своих объектов и найти методы их моделирования. Это мировосприятие вызвало мощное развитие ряда научных течений и дисциплин, казалось бы, друг от друга далеких (в данной работе интерес будет сосредоточен только на двух из них: нелингвистическом структурализме и отчасти кибернетике[3]). Однако оно же породило такой феномен, как складывание «больших парадигм» – научных и идеологических конструктов, претендующих на универсальный охват своего объекта исследования, под которым, как правило, понимаются все уровни бытия в совокупности. В центре внимания в данной работе оказываются процесс формирования и причины распада «большой парадигмы» Структурализма в 1960-е годы, а также некоторые варианты реактуализации (с иной идеологической подоплекой) феномена «больших парадигм» в 1990-е годы.

Настоящая работа имеет отношение не только к теории, но и к истории литературы: от выбора исследовательской оптики (которая, в свою очередь, обусловлена мировоззрением этого исследователя) зависит то, каким именно образом будет восприниматься и члениться литературный процесс, проводиться анализ конкретных произведений, творчества индивидуальных авторов или больших историко-литературных блоков. Как известно, именно метод конструирует объект – выявляет его релевантные признаки и определяет категориальный аппарат для их изучения. Поэтому своего рода метаанализ – анализ методологических принципов изучения истории литературы – для научной дисциплины «история литературы» необходим и не может существовать изолированно от нее. Характерно, что даже самые отвлеченные концептуальные разработки участников Тартуско-Московской школы в итоге разрабатывались на материале истории литературы (и – шире – культуры). Ю.М.Лотман позднее так писал об этом: «Лично я не могу провести резкую черту, где для меня кончается историческое описание и начинается семиотика. Здесь нет противопоставления, нет разрыва. Для меня

---

[3] В параграфе об А.Н.Колмогорове.

эти сферы органически связаны. Это важно иметь в виду, поскольку само семиотическое направление начиналось с отрицания исторического изучения. Отойти от исторического исследования необходимо было для того, чтобы *вернуться* к нему. Надо было разрушить связи с традицией для того, чтобы потом восстановить их на совершенно иной основе» [Лотман 1990/1994b: 296].

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. В первом параграфе первой главы дается общий обзор периода 1956–1964 годов (условно – «долотмановского» периода). Параграфы со второго по пятый посвящены анализу четырех основных направлений, о которых вкратце говорится в обзоре: Московскому структуралистскому кружку; поэтике выразительности А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова; концепциям А.Н.Колмогорова и М.Л.Гаспарова; семиотике Ю.М.Лотмана. Вторая глава представляет собой экспериментальный материал: предварительную попытку рассмотреть некоторые научные тенденции 1990-х годов, обусловленные эволюцией тех идей, которые восходят к деятельности Тартуско-Московской школы 1960-х годов. В качестве иллюстраций для анализа взяты научные методы А.Л.Зорина, О.А.Проскурина, Р.Д.Тименчика, а также стратегия С.Л.Козлова на посту заведующего отделом теории журнала «Новое литературное обозрение». Автор при этом отдает себе отчет в том, что только лишь к этим примерам все многообразие научной жизни 1990-х годов не сводится.

При выработке метода исследования в настоящей работе использовались некоторые элементы методологии раннего варианта «археологии знания» Мишеля Фуко – так, как это явление представлено в его книге «Слова и вещи» (1966). Предполагается, что данная методология является одной из наиболее удобных для анализа представленного материала, поскольку предлагает концептуальный аппарат для осмысления глубинных мировоззренческих пластов рассматриваемой эпохи. При анализе

конкретных теоретических концепций использовался также подход Джонатана Каллера, представленный в его книге «Структуралистская поэтика. Структурализм, лингвистика и литературоведение» (1975, 1977).

Все выделения в цитатах (курсив, жирный шрифт, заглавные буквы) принадлежат цитируемым авторам.

ГЛАВА 1.

ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО СТРУКТУРАЛИЗМА (1956–1964).

§ 1. «Долотмановский» период российского структурализма (общий обзор).

I.

Во всех широких обсуждениях основ и истоков Тартуско-Московской школы (вплоть до последнего на данный момент, проводившегося в 98-м номере «Нового литературного обозрения»), при большой содержательности дискуссий в целом, обнаруживается проблематичность самих определений «структурализм» и «семиотика». Во-первых, оба термина по традиции подаются как синонимы – видимо, по умолчанию предполагается, что хотя в зарубежной литературе эти течения вполне могут быть несовместимыми друг с другом (например, американский антрополог Клиффорд Гирц использовал семиотику в борьбе против марксизма и структурализма), на российской почве различия нивелировались. Во-вторых, определение «структурализм»/«семиотика» прилагается ко всему течению в целом, начиная с его зарождения во второй половине 1950-х годов и до смерти Ю.М.Лотмана. В итоге при более близком приближении к материалу у исследователя может возникнуть недоумение: столь разными окажутся теоретические стратегии, скажем, Ю.М.Лотмана и большинства других участников школы (например, Б.А.Успенского [Калинин 2009]).

Фактографическая часть истории раннего российского структурализма известна на данный момент достаточно подробно. В 1990-е годы были изданы мемуары В.А.Успенского, Вяч.Вс.Иванова, И.И.Ревзина [Успенский В. 1990/1998; Иванов 1995; Ревзин 1997] и др., подробно отражающие внешний ход событий: проведение семинаров, конференций и симпозиумов, создание кружков, исследовательских лабораторий и секторов, издание основных структуралистских сборников. Еще раньше, в 1970–1980-е годы, вышли обзорные работы по истории течения в общем контексте советской ситуации – Энн Шукман, Питера Сейфферта, не так давно переведенного на

русский язык Карла Аймермахера [Shukman 1977b; Seyffert 1985; Аймермахер 1986/2001]. Параллельно продолжалось освоение накопленного материала российскими исследователями, начиная с обзорных статей Б.А.Успенского и И.А.Чернова 1981–1982 годов [Успенский Б. 1981/1994; Чернов 1982] и вплоть до масштабной монографии Вяч.Вс.Иванова «Очерки по предыстории и истории семиотики» (существенно переработанный вариант книги 1976 года) [Иванов 1999], а также во многом основывающегося на ней учебника Г.Г.Почепцова «Русская семиотика» [Почепцов 2001]. По Ю.М.Лотману существует уже целое направление исследований, требующее отдельной библиографии.

Однако если попытаться, следуя логике самих участников Тартуско-Московской школы, рассмотреть глубинные основы направления, то обнаружатся определенные неясности. В наиболее острой форме они проявились в хорошо известной полемике Б.М.Гаспарова и Ю.М.Лотмана (а также еще нескольких бывших участников), проходившей уже в начале 1990-х, о специфике Летних школ 1960-х годов.

Б.М.Гаспаров представил коллектив российских структуралистов как замкнутую сплоченную группу, которая изолируется от современной действительности и стремится осмыслить все многообразие явлений культуры в терминах единого подхода, основанного на соссюровской лингвистике: «Как бы ни ощущалось различие между ними в чисто "житейском" смысле – на уровне "кода" семиотических исследований все они выступали в соотнесенности между собой, в качестве частей единой системы; утопическое стремление к единству, всеохваченности и всесоотнесенности явлений преобладало над интересом к каждому явлению в отдельности» [Гаспаров Б. 1989/1994: 289]. Эта концепция встретила резкий отпор со стороны остальных участников школы, указывавших, наоборот, на просветительский пафос и методологическую вольницу, напр.: «Могу утверждать, что пафос, по крайней мере тартуской группы, был не эзотерическим, а просветительским. С самого начала мы читали спецкурсы,

вели спецсеминары, собирали студенческие конференции и летние школы коллег, издавали научные сборники <…>» [Лотман 1990/1994a: 500]; «Разнообразие интересов, психологическая, возрастная и прочая разница участников – их *неодинаковость* во всем – приводили к постоянному и продуктивному диалогу» [Лотман 1990/1994b: 295]; «Главным был тот удивительный и столь редко обнаруживающий себя дух сотворчества, при котором все лично-индивидуальное, различное, особое не только не противоречило друг другу и не мешало сложению из него некоего общего и благого прибытка, но, напротив, взаимно поддерживало одно другое, раздвигая творческое пространство и создавая атмосферу особой открытости, проницательности, сообщительности, отзывчивости, взаимной симпатии, почувствованную почти сразу и со временем закрепленную *памятью сердца*» [Топоров 1994: 335]; «<…> Б.М. рисует картину сплоченных рядов, идущих на штурм здания мировой культуры под флагом единой структурно-семиотической идеологии, – мне же рисуется, скорее, анархистская вольница, – хотя и были, может быть, слабые попытки единственного, на мой взгляд, действительного "семиотического утописта", Ю.М.Лотмана, обуздать ее» [Левин 1994: 311].

Из основных постулатов Б.М.Гаспарова только утопический настрой российских структуралистов был признан практически единогласно. А единственным, кто (отчасти) поддержал позицию Б.М.Гаспарова в остальных пунктах, оказался М.Л.Гаспаров, к собственно Тартуско-Московской школе имевший косвенное отношение и свои заметки озаглавивший «Взгляд из угла»: «Казалась ли эта школа эсотерической ложей или просветительским училищем? И то и другое. <…> Социальная ситуация изменилась, стало возможным говорить публично о том, что раньше приходилось таить. Просветительский ум должен этому только радоваться, но эмоционально это может ощущаться как профанация» [Гаспаров 1994: 299, 302]. Ю.М.Лотман же обратил концепцию Б.М.Гаспарова на ее автора: «Б.М. с изяществом рисует общий портрет, безымянную картину… На самом деле, очень

"имянную" – он рисует свой портрет! И мне его статья нравится именно тем, что она субъективна. И индивидуальна» [Лотман 1990/1994b: 298].

Думается, однако, что в общеметодологическом споре обе стороны правы по-своему, и то, что Ю.М.Лотману представлялось чертами личности Б.М.Гаспарова, на определенном этапе являлось признаками мировоззрения многих участников этого направления. Однако и Ю.М.Лотман, описывавший школу (правда, с характерной оговоркой «по крайней мере тартускую группу») противоположным образом, тоже прав, т.к. Б.М.Гаспаров фактически (хотя и рассуждал о времени Летних школ) изобразил мировоззрение структуралистов начального, «долотмановского» периода.

II.

Представляется, что в истории российского структурализма можно выделить наиболее ранний этап. Началом его, по свидетельству некоторых его участников [Успенский В. 1990/1998; Ревзин 1997; Мельчук 1998], были 1954–1956 годы, когда в российской науке стала усиленно развиваться ранее запретная кибернетика, а в филологии под ее эгидой – структурная лингвистика. В 1961 году в городе Горьком состоялось совещание, посвященное применению математических методов к изучению языка художественной литературы, но фактически впервые публично продемонстрировавшее применение структурализма к нелингвистическому материалу (основными докладчиками были участники группы А.Н.Колмогорова): «На совещании, которое проходило с 23 по 27 сентября 1961 г., было обсуждено около 20 докладов и сообщений, которые условно можно сгруппировать следующим образом: 1) математические методы анализа стиха, 2) организация статистической работы и обмен результатами, 3) возможности построения структурной поэтики, 4) заключительное обсуждение» [Ревзин 1962b: 285–286].

Кульминацией же этапа можно считать 1962 год, когда Сектором структурной типологии славянских языков Института славяноведения был проведен Симпозиум по структурному изучению знаковых систем, а также

изданы сборник «Структурно-типологические исследования» и тезисы докладов к Симпозиуму (реально вышедшие в начале 1963 года). Сектор объединил большинство тех исследователей, которые были готовы переносить новые методы на все разнообразие культурного материала, и на Симпозиуме впервые была развернута широкая программа стратегий этого переноса. Эта победа была первой – весьма относительной в административном плане (сборник и тезисы докладов вышли ограниченным тиражом, участники подверглись осуждению со стороны партийных функционеров), зато значительной по своим научным последствиям, – но одновременно и последней в истории российского нелингвистического структурализма[4] в его чистом виде. После 1964 года происходит серьезная модификация самого понимания сущности структурализма и его методов, что знаменует начало нового этапа – условно говоря, «классического», или «семиотического» (1960-е – первая половина 1970-х годов)[5]: формирование Тартуско-Московской школы, проведение Летних школ и т.д. Термин «семиотика» употреблялся уже на Симпозиуме – этим словом открывается предисловие к сборнику тезисов [Иванов 1962: 3], – однако понимался он скорее в кибернетическом смысле, что в ряде существенных аспектов отличает его от позднейшего, лотмановского понимания сущности семиотики.

Поскольку предисловие являлось своего рода манифестом раннего структурализма и достаточно полно отражало специфику отношений этого направления к своему объекту, имеет смысл процитировать взгляды Вяч.Вс.Иванова на семиотику подробно: «С точки зрения современных кибернетических представлений человек может рассматриваться как такое устройство, которое совершает операции над различными знаковыми системами и текстами, причем сама программа для этих операций задается

[4] Обзор собственно лингвистического структурализма выходит за рамки данной работы, поэтому далее под «структурализмом» понимается исключительно структурализм нелингвистический.
[5] Рассмотрение этого периода также выходит за рамки данной работы.

человеку (и отчасти вырабатывается в нем самом) в виде знаков. Проблема "люди или животные?" (т.е. вопрос об отличии человеческого поведения и человеческого интеллекта от сходных форм поведения животных) и проблема "люди как машины?" (т.е. вопрос о сходствах и различиях между мозгом и машиной) оказываются тесно связанными с вопросом об особенностях знаковых систем, выработанных и используемых человечеством. В отличие от животных, средства сигнализации которых весьма ограничены, человек пользуется разветвленной и все более усложняющейся сетью знаковых систем, растущей по мере развития отдельного человека (в онтогенезе) и по мере развития человечества (в филогенезе). В отличие от современных машин, для работы которых используются искусственные языки, относящиеся к строго фиксированной и предельно упрощенной предметной области, человек владеет не только такими формализованными языками, но и естественными языками и другими надстроенными над ними знаковыми системами, отличающимися от логических языков рядом существенных свойств. Благодаря этим свойствам естественные языки могут использоваться в качестве модели всего мира, окружающего человека, в том числе для описания явлений, еще не получивших научного объяснения. <…> Как и другие науки, смежные с кибернетикой, семиотика имеет дело прежде всего с моделями, т.е. с образами отображаемых (моделируемых) объектов, состоящими из конечного числа элементов и отношений между этими элементами. Эти образы (модели) стремятся к такому отношению между моделируемыми объектами и образами, при котором все элементы и объекты, имеющиеся (с прагматической точки зрения потребителя данной модели) в моделируемом объекте, имеются и в образе (модели), но обратное может не иметь места. Построение моделей мира осуществляется посредством моделирующих семиотических систем с различными степенями моделирующей способности (т.е. различным числом элементов и отношений, соответствующих элементам и отношениям моделируемого объекта). <…> Различные моделирующие

семиотические системы образуют сложные иерархические ряды уровней, где система низшего уровня (например, естественный язык) служит для кодирования знаков, входящих в системы высшего уровня (например, знаковых систем искусства и науки); в свою очередь, каждая из знаковых систем, входящих в эти иерархические ряды, может образовывать упорядоченную (или частично упорядоченную) последовательность уровней» [Иванов 1962: 3–6].

Что знаменовало собой такое понимание понятий «знаковая (семиотическая) система», «модель», а также иерархии и изоморфизм уровней этих систем, будет подробнее рассмотрено в параграфе о Московском кружке. Сейчас же необходимо сказать, по каким принципам этот кружок выделяется в данной работе как особое явление в общей системе раннего российского структурализма и на какие группы в целом можно структурализм разделить.

III.

С самого начала российский структурализм представлял собой два принципиально различных явления. Во-первых, это структурализм как метод исследования (структурализм в стиховедении: М.Л.Гаспаров, А.Н.Колмогоров и его группа; структурализм в мифологических исследованиях: Е.М.Мелетинский, Вяч.Вс.Иванов, В.Н.Топоров, Д.М.Сегал, Т.В.Цивьян и др.; «порождающая поэтика» А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова и т.д.). Во-вторых, это Структурализм как «большая парадигма», т.е. система универсальных категорий, с помощью которых можно – в идеале – осмыслить весь мир, сведя его к исчислимому набору принципиально познаваемых структурных типов тех или иных явлений, принадлежащих к культурной или внекультурной сфере. Данное явление было реализовано узкой группой людей (Московский кружок Вяч.Вс.Иванова – В.Н.Топорова), по преимуществу являвшихся сотрудниками Сектора структурной типологии, в течение короткого промежутка времени и в небольшом количестве текстов. Однако именно оно определило то исходное состояние

российского структурального направления, отталкиваясь от которого, в середине 1960-х годов это направление эволюционировало из мировоззренческой «большой парадигмы» в дисциплину «семиотика».

Можно утверждать, что это, помимо прочего, – любопытный опыт создания группой ученых-гуманитариев, специализирующихся на исследовании языка и мифологии, своего собственного мировоззрения, альтернативного официальному марксистскому. На этом основании структурализм именуется в данной работе не советским, а российским, что должно служить некой эмблемой противопоставленности системы взглядов Московского кружка господствующей идеологии. Это подчеркивалось позднее и самими участниками кружка (с характерной подменой материалистического мировоззренческого базиса кодовым, семиотическим): «Школа настаивала на существовании условной знаковой природы культурных, идеологических и религиозных парадигм, отвергая любые утверждения об "онтологическом", "материальном" характере этих систем. Открытие того, что "железные дороги истории", критический и социалистический реализм и даже многие "исторические факты" являются лишь семиотическими кодами, освобождало нас от ига коммунистической диктатуры» [Сегал 1993: 32]; «<…> систематические поездки в Тарту и погружение в этот мир стали необходимым духовным опытом. Сам факт наличия этого особого мира давал ощущение внутренней независимости, выхода в духовное пространство, защищенное от враждебной среды <…>. Важнейшей категорией психологии и поведения "тартуских" ученых той эпохи представляется мне чувство отчуждения. Для ученого этой психологической формации было характерно глубокое недоверие к тому, что его окружало – не только к официальным учреждениям, но даже к традиционным предметам научных занятий, общепринятому научному языку, формам общения с коллегами. Дух позднесталинской эпохи проявлял себя отнюдь не только в прямом идеологическом давлении: его отпечаток можно было заметить и в таких проявлениях профессиональной и

культурной жизни, которые, казалось бы, не были прямо связаны с идеологией и принадлежали научной и культурной традиции. Этот отпечаток узнавался в характере мыслительных ходов и ассоциаций, в общеупотребительной фразеологии, в границах привычно используемого материала и референтных полей. Освобождением от этого должна была стать не "перестройка", но отчуждение и уход; не перестройка, но строительство заново, как бы на пустом месте» [Гаспаров Б. 1989/1994: 280–281].

IV.

По большому счету, Структурализм как «большая парадигма» не является чем-то независимым от структурализма как метода исследования; все участники Московского кружка, разумеется, пользовались структурным методом. Другое дело, что и у тех, кто не стремился создать «большую парадигму», при относительной общности методов задачи часто различались довольно ощутимо. Со временем, в мемуарах 1980–2000-х годов, эти различия во многом нивелировались, и структурализм предстал как цельное течение или даже единый стройный фронт. Однако думается, что применительно по крайней мере к 1956–1964 годам адекватнее говорить даже не о двух, а о четырех, условно говоря, «структурализмах».

Наиболее примечательным – и по научному размаху, и по творческой интенсивности, и по дальнейшему влиянию – был Московский кружок. «Вторым структурализмом» можно назвать работы группы А.Н.Колмогорова (А.В.Прохоров, Н.Г.Рычкова, А.П.Савчук, А.М.Кондратов и др.), а также М.Л.Гаспарова. При всем сходстве в конкретных методиках анализа конечные их цели были различны, что вскоре и обнаружилось. А.Н.Колмогоров и его коллеги разрабатывали чисто формальный стиховедческий анализ, чтобы потом использовать его результаты в кибернетике. (Конечно, это лишь самое общее и грубое определение, обусловленное рамками обзора. Об А.Н.Колмогорове существует своя литература; достаточно сослаться в качестве показательного примера на комментарии В.А.Успенского к «Семиотическим посланиям»

А.Н.Колмогорова и его же обширную вступительную статью к этой публикации [Колмогоров 1997; Успенский В. 1997].) М.Л.Гаспаров же, оставаясь в русле «классического» филологического структурного стиховедения (разработки Андрея Белого, формалистов и К.Ф.Тарановского), шел по тому пути, который приведет его к исследованиям взаимодействия метра и смысла. Третий путь – «порождающая поэтика» А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова. Наконец, «четвертым структурализмом» по традиции считается семиотика Ю.М.Лотмана, которая, по сути, структурализмом как таковым никогда не была.

Разумеется, эта нумерация условная и не свидетельствует ни о хронологии зарождения (первые разработки Вяч.Вс.Иванова и А.Н.Колмогорова, например, появились практически в одно и то же время), ни, тем более, о сравнительной значимости того или иного течения.

Для более полной картины развития структурализма необходимо также учитывать такие явления, как популяризаторские работы 1960-х годов (А.М.Кондратова, А.Мицкевича и др. [Добрушин, Кондратов 1961; Мицкевич 1961]), где наряду с пересказом основных достижений колмогоровской группы излагались поверхностно понятые идеи применения кибернетических методов к гуманитарной сфере. Например, А.Н.Колмогоров высказал гипотезу, с какой степенью вероятности возможно моделирование творчества автоматом: «Есть все основания думать, что **в принципе** дискретные автоматы могут моделировать интеллектуальную деятельность (например, автомат, который имел бы 10^{20} различных состояний, мог бы написать "Евгения Онегина", учитывая, что мозг предположительно принимает 10^{12} различных состояний, а количество предшествующих поколений людей можно оценить в 10^{8})» [цит. по: Ревзин 1962b: 292–293]. Из этого родилось представление о машине, помогающей поэту писать стихи и музыку, – сам А.Н.Колмогоров относился к подобным теориям критически.

За рамки данной работы также выходят чисто идеологические конструкты позднейшего времени – 1970–1980-х годов («марксистская

семиотика» М.Б.Храпченко и т.п.). И популяризаторские, и идеологически обусловленные работы представляют определенный интерес как черты эпохи или способы функционирования советской науки, однако со структурализмом как таковым (равно как и с семиотикой) имеют мало общего, поэтому выводятся за скобки.

V.

С появлением работ Ю.М.Лотмана, начиная с «Лекций по структуральной поэтике», ситуация изменилась: был переосмыслен термин «модель», панхронное рассмотрение диахронического процесса сменилось более традиционным анализом литературной эволюции, структурная типология уступила место анализу культурного объекта как индивидуальной и уникальной семиотической системы, ренессансный вопрос о принципиальной познаваемости всего мироздания трансформировался в поиск методов анализа сферы человеческой культуры. Безусловно, данный тезис требует подробной аргументации, но это заслуживает специального исследования, – в параграфе, посвященном раннему Ю.М.Лотману, дается лишь предварительная его разработка. Для его иллюстрации можно сослаться на тонкие наблюдения П.Торопа и Ю.А.Шрейдера [Тороп 1992; Шрейдер 1993], а также на недавнюю статью В.М.Живова, где рассматривается «разбегание» научных стратегий участников Тартуско-Московской школы в 1970–1980-е годы [Живов 2009: 21–22].

Характерно также рассуждение А.Л.Зорина, который сопоставил с теорией Тартуско-Московской школы подход американского семиотика-антрополога Клиффорда Гирца[6]: «Подход этот, разумеется, чрезвычайно далек от сциентистского оптимизма тартуских и московских семиотиков, для которых Леви-Стросс, по крайней мере в области методологии, неизменно оставался незыблемым авторитетом, а чаяние итогового научного синтеза было своего рода символом веры. Важно, что и в целом философская

---

[6] Подробнее об А.Л.Зорине и о значимости для него теории «насыщенного описания» К.Гирца в связи с наследием Тартуско-Московской школы см. в параграфе об А.Л.Зорине.

антропология французского Просвещения[7], и прежде всего Руссо, была исключительно значима для Лотмана, всю жизнь изучавшего наследие этой эпохи. В то время как семиотика Гирца была заострена против структурализма, исследования тартуско-московской школы неизменно назывались структурно-семиотическими.

Впрочем, противопоставление двух семиотических теорий требует ряда более или менее существенных оговорок. Прежде всего, интеллектуальный континуум, заявленный словосочетанием "структурно-семиотический", все же в неявном виде включает в себя представление о двух полюсах метода. Эволюцию самого Лотмана от "Лекций по структуральной поэтике" до учения о семиосфере и увлечения философскими идеями И.Пригожина можно, несколько огрубляя, рассматривать как движение от одного полюса к другому. При этом идеологическое давление, постоянно оказывавшееся на школу, налагало существенные ограничения на возможности открытой внутрицеховой полемики, в частности на любую эксплицитную критику собственных взглядов предшествующего периода» [Зорин 2001: 15].

Итак, выдвигается предположение, что Структурализм во всем многообразии и сложности его проявлений трансформировался в научную дисциплину семиотику. Впрочем, отдельные элементы прежнего структуралистского мировоззрения периодически всплывали в работах участников Тартуско-Московской школы в течение всех 1960–1970-х годов. Отдельного анализа заслуживает эволюция взглядов самого Ю.М.Лотмана, разрушившего «большую парадигму» структурализма, но некоторое время спустя (примерно с середины 1970-х годов) начавшего воздвигать новое общее мировоззренческое здание – но уже не Структурализма, а Семиотики, на качественно ином базисе, что привело в итоге к разработке теории семиосферы. Ср.: «Если все же поддаться соблазну генерализации, то этот переход от семиотики 1960-х к семиотике 1970-х – первой половины 1990-х

---

[7] О сопоставлении мировоззрения российского структурализма с мировоззрением эпохи Просвещения см. также в параграфе о Московском кружке.

можно обозначить как переход от утопии построения универсального метаязыка к историософии универсального объекта русской культуры» [Калинин 2009: 33, сноска 12]. Однако в этих начинаниях Ю.М.Лотман уже оказался в одиночестве: и его коллеги по Московскому кружку, и ученики – участники Тартуской школы – воспринимали семиотику как научное направление, пусть и с несколько размытыми границами, но не как очередную общеидеологическую «большую парадигму».

Видимо, такая сложная сеть научно-методологических и общемировоззренческих взаимоотношений привела в результате к той унификации и подчас даже путанице, которые возникли в воспоминаниях о Тартуско-Московской школе постфактум (особенно о ее начальном периоде). На все движение в целом переносились черты либо Московского кружка (у Б.М.Гаспарова и отчасти Д.М.Сегала), либо Тартуско-Московской школы и конкретно Ю.М.Лотмана, а чаще происходила комбинация, как, например, у С.Ю.Неклюдова:

«Ощущение действенности и универсальности структурно-семиотических методов долго оставалось сильным; казалось, превращение литературоведения в точную науку вполне достижимо, и кратчайший путь к ней найден. Переизбыток тяжеловатой терминологии, пугающей и одновременно привлекающей неофитов, также был, надо думать, связан с тенденцией к логизации, даже "математизации" данной области знаний. Может быть, здесь проявлялась и некоторая эзотеричность сложившегося ученого сообщества <…>. <…> я неоднократно слышал, как в приватных разговорах многие вообще отрицали "цеховую" принадлежность к данной дисциплине, и в известной мере это было правдой. Здесь действительно почти не занимались семиотикой как таковой, "общей семиотикой", "общей теорией знаковых систем", абстрагированной от конкретных форм их выражения. Здесь происходило нечто иное: обретение новой "научной парадигмы", если воспользоваться термином Т.Куна, т.е. более широкой, чем научная теория, и признаваемой научным сообществом совокупности

убеждений, ценностей, операционалистических приемов, категориального аппарата и соответствующего языка описаний. Формировался (конечно не только здесь!) новый взгляд на гуманитарное знание, в значительной степени определивший направленность и характер научного развития последующих десятилетий» [Неклюдов 1994: 320, 323].

Здесь нужно, однако, заметить, что «математизация» была характерна скорее для Московского кружка, отказ от абстрактной «семиотики как таковой» – скорее для Ю.М.Лотмана, остальные черты более-менее свойственны всем участникам Тартуско-Московской школы, только зачастую специфику этих черт каждый из них понимал по-разному. По всей видимости, в 1960-е годы в пределах школы шла острая борьба идей и мнений, однако в позднейших воспоминаниях она, за редким исключением, не отразилась.

§ 2. **Московский кружок и Структурализм как мировоззрение.**

I.

Как было заявлено в обзорном параграфе о «долотмановском» периоде, Московский кружок (В.Н.Топоров, Вяч.Вс.Иванов, И.И.Ревзин, А.А.Зализняк, Б.А.Успенский, Д.М.Сегал, Ю.К.Лекомцев, Т.В.Цивьян, Т.М.Николаева и некоторые другие) в структурализме находил для себя не только набор исследовательских методик и определенный категориальный аппарат, но и уникальное для российской культуры XX века мировоззрение. Здесь будет дана попытка описать основные особенности этого явления.

Генезис данного мировоззрения представляет собой особую проблему, требующую специальной разработки. В качестве предварительного предположения, которое еще требует своего доказательства, можно выдвинуть следующее: для того чтобы противопоставить Марксизму как господствующей «большой парадигме» нечто принципиально иное, единственным возможным решением было основать альтернативную «большую парадигму». Это уже не вопрос методологии той или иной науки, а общеидеологическая проблема: если некая Система объемлет собой все сферы существования человека и культуры, а есть желание или необходимость освободиться от этого диктата, то «свергнуть» данную Систему может только другая всеобъемлющая, которая на иных основаниях способна точно так же заполнить собой все те же сферы. Тем более что Московский кружок вполне разделял то универсалистское утопическое сознание, которое было характерно для эпохи Оттепели и о котором уже упоминалось во введении. Ср.: «<…> энтузиазм и энергия, одушевлявшие основателей ТМШ (Тартуско-Московской школы. – *Н.П.*), были составной частью "оттепели", своеобразным *альтернативным шестидесятничеством*, лишенным политической окраски, но тем не менее неодолимо увлекавшим людей различных взглядов и пристрастий, разнообразных специальностей к давно забытому *настоящему делу*» [Бак 1995: 307]. На принадлежность Тартуско-Московской школы своей эпохе указывал еще Б.М.Гаспаров

[Гаспаров Б. 1989/1994], однако важно найденное Д.П.Баком определение структуралистов именно как альтернативных шестидесятников.

Следует, однако, сразу оговорить, что участники Московского кружка не ставили перед собой сознательную цель создать именно общеидеологический конструкт. Скорее здесь можно говорить о том, что они развивали структурализм как научное течение, однако фактически в ходе логического развития их научных теорий это приобрело формы «большой парадигмы» Структурализма. Можно предполагать, что сами участники Московского кружка эксплицитно выразили рефлексию над этим явлением – в том числе и над Структурализмом как альтернативой Марксизму – значительно позже, только в 1980–1990-е годы, т.е. уже в эпоху заката Тартуско-Московской школы.

Тем не менее имплицитно теория раннего российского структурализма развивалась именно в направлении создания своей, уникальной на русской почве «большой парадигмы». Альтернативой Марксизму и – далее – материализму с их доминированием экономического базиса над всеми остальными сферами культуры и – шире – превалированием материи в устройстве мироздания, с точки зрения Московского кружка, должна была стать Система, где все сферы культуры обусловлены своей знаковой сущностью, а глубинная основа мира – информация[8].

Универсальный метод, по мнению структуралистов данного направления, – типологическое сопоставление тех или иных знаковых систем с помощью конструирования абстрактных моделей, выделяющих комплекс основных дифференциальных признаков этих систем. Термин «модель» был заимствован сразу из нескольких разных по своей природе источников (кибернетика, теория информации, структурная лингвистика, семиотика), чем, по-видимому, обусловлены сложности его употребления (см. ниже). Тем

[8] Ср. то, как активно уже в следующий, Тартуско-Московский период стали использоваться термины «первичная моделирующая система» (естественный язык) и «вторичные моделирующие системы» (языки всех сфер культуры), в которых марксистская иерархия базиса и надстройки просто наполнялась иным содержанием. Также о понятии «вторичные моделирующие системы» см. в параграфе о Ю.М.Лотмане.

не менее марксистский субстрат тоже неявно присутствовал при выборе именно этого понятия – причем присутствовал негативно: как категориальный аппарат той Системы, от которой отталкивался Структурализм. В первую очередь, это понятия «отражение» и (в литературоведении) «образ». Ср.: «Понятие модели было изначально взято из общей гносеологической дискуссии, которая проводилась в советской философии в конце 1950-х годов. Одной из причин, почему семиотика усвоила это понятие и связала его с общими семиотическими проблемами, была предполагаемая *когнитивная* (или *гносеологическая*) функция моделей. Однако было бы некорректно утверждать, что понятие "модели" просто заместило собой марксистское понятие "отражения": понимание искусства как средства познания значительно старше марксизма и в основе своей восходит к эстетическим теориям XIX века. Точнее, я бы не стал распространяться настолько, чтобы утверждать, что понятие "модель" просто заменило марксистское понятие отражения» [Grzybek 1994: 290].

Специфика понятия «модель» в структурализме в результате оказалась недостаточно отрефлексированной, в результате чего под моделью стало пониматься и воссоздание системы объектов, и воссоздание системы признаков изучаемого объекта, и даже воссоздание принципов порождения этих систем[9]. Это произошло из предположения, что мир устроен иерархически, причем система каждого более высокого слоя является изоморфной (типологически аналогичной) системе нижележащего слоя, из которого он вырастает. Идея перенесена из лингвистики, где наиболее простой фонологический уровень подобен более сложному морфологическому, который зиждется на нем и, в свою очередь, конструирует синтаксический (структура подобного конструирования и позволяет говорить об изоморфизме уровней).

[9] Ситуация не изменилась и при наступлении следующего этапа – Тартуско-Московской школы; во многом это было обусловлено идеологическими причинами. Рассмотрение данного периода не входит в хронологические рамки настоящей работы, тем не менее ряд предварительных замечаний по этому поводу предложен в параграфах о Ю.М.Лотмане, А.Л.Зорине и во вступлении ко второй главе настоящей работы.

Позже, уже в начале 1990-х годов, об этой неотрефлексированности категориального аппарата и, как следствие, онтологизации объекта исследования будет писать А.М.Пятигорский: «<…> семиотика не имела и своей теории, теории как *рефлексии* над методологическими предпосылками. Более того, господствовала тенденция (которая мне тогда очень нравилась) принимать за теорию метод описания объекта, с одной стороны, а с другой – приписывать этому методу онтологические характеристики (что мне нравилось еще больше). Так, метод бинарных оппозиций превращался из рабочего метода описания чуть ли не в закон природы описываемого объекта» [Пятигорский 1994: 325].

Можно заметить, что реальная система и ее модель в Структурализме соотносимы на основании того, что обе – отражения некой единой системы абстрактных аксиом наподобие платоновских эйдосов, рационально постижимых. Ср. в статье М.И.Бурлаковой, Т.М.Николаевой, Д.М.Сегала и В.Н.Топорова «Структурная типология и славянское языкознание»: «Поскольку как модель, так и реальная система являются отражениями одной системы аксиом, утверждения, относящиеся к модели, будут подобным же образом относиться к системе реальных объектов. Таким образом, математические модели аппроксимируют отношения внутри системы реальных объектов» [Бурлакова et al. 1962: 9]. Предполагается, что система отношений между моделями изоморфна системе отношений между реальными объектами, – а если уникальный и целостный объект как исследовательская категория в структуралистской терминологии не имеет смысла, то адекватность отображения отношений в модели знаменует адекватность познания системы объекта (или системы объектов).

Потенциально знаковыми могут оказаться не только системы культуры, но и то, что обычно относится к сфере, внеположной культуре: функционирование человеческого организма (конкретно – органов чувств) – С.Е.Генкин [Генкин 1962: 90]; «выражения» природы (формы облаков, расцветка животных и растений) – Ю.К.Лекомцев (он предлагал исследовать

феномен прекрасного в искусстве и природе математическими методами в пределах дисциплины «семиологическая эстетика» [Лекомцев 1962: 124–125]) и т.д. Системы панхронны, функционируют вневременно; анализ диахронического изменения этих систем представляет собой изучение последовательного перехода их из одних панхронных состояний в другие – либо же используется как вспомогательное средство для описания синхронических состояний исследуемой системы. Например: «Строя синхронное описание лингвистической или иной знаковой системы, исследователь руководствуется только принципами адекватности объекту и максимальной простоты. Никакие диахронические соображения не участвуют в выборе типа описания. Тем не менее нередко оказывается, что операционные понятия и вспомогательные построения, используемые в оптимальном синхронном описании, в той или иной мере соответствуют понятиям и построениям, известным из истории данного языка. <…> Случаи такого рода составляют особый тип "следов прошлого в настоящем": прошлая реальность отражается в виде удобного средства описания настоящего» [Зализняк 1962а: 56]. Это позволяет, при надлежащем знании структуры функционирования, предсказывать дальнейшее развитие систем.

Любопытно сравнить особенности данного мировоззрения с истолкованием Ю.К.Щегловым художественного мира Овидия. Можно спорить, насколько выкладки исследователя соответствуют мировидению древнеримского поэта, однако черты, характерные для Московского кружка, подмечены весьма точно: «Разложив вещи на признаки, Овидий из этих признаков строит затем весь мир заново. Система признаков открывает на каждом шагу массу таких различий и таких сходств между знакомыми по реальному миру вещами, которых мы не замечали и не могли заметить прежде. Мы не могли их заметить потому, что в реальном мире, в котором живет человек, каждая вещь как бы лежит на пересечении многих различных плоскостей, участвует в самых разнородных "ассоциациях", причем каждая вещь имеет свой собственный набор таких ассоциаций. Реальный мир не

образует одной законченной системы, он размельчен, разбит на множество мелких систем, каждая из которых с какой-либо стороны захватывает часть вещей, но не все их. Поэтому вещи в реальном мире разобщены, не ощущается изначальная связь между ними. Овидий как бы восстанавливает картину мира в его первобытном виде, когда все вещи составляли единство, охватывавшее все мироздание. Делает он это путем "очистки" мира от всего наносного, оставляя лишь один уровень, на котором можно сразу созерцать все существующее. Это как бы модель мира, показ упрощенный и в то же время универсальный, синтетический. От этого мир и становится таким безграничным и приобретает такую обаятельность. Открывается сходство и различие разных предметов, их тонкие градации. Особый принцип показа дает возможность изображать вещи сколь угодно малые и очень большие. Все это можно описать при помощи простейших признаков вещей, которые делают чудо – превращают мир в систему» [Щеглов 1962b: 159–160].

Здесь значимо не только схватывание в одном обзоре всего комплекса основных черт Структурализма (задача, которую Ю.К.Щеглов мог и не ставить перед собой сознательно, когда переносил особенности знакомой ему идеологической системы на древнеримскую эпоху). Значима сама возможность реконструкции мировоззрения аналогично реконструкции художественного мира литературного текста. Можно сопоставить это с тем, что методология Структурализма, восходящая к европейской и американской структурной лингвистике и применявшаяся при изучении религий, живописи, кино и других сфер культуры, разрабатывалась именно на материале текстов художественной литературы (а также письменно засвидетельствованных фольклорных текстов). Мир в понимании Московского кружка неявно представал не просто как текст, а как текст классического периода мировой литературы – от античности до XVIII века. Возможно, с этим связана эффективность анализа древних литератур и фольклора (и мировидения, заключенного в них) в работах участников кружка. Однако при переходе к литературе Нового времени методики

Структурализма оказались наиболее работоспособными в применении к массовой литературе, типологически сходной с народной литературой и с литературой классического периода. В то же время для исследования индивидуальных форм творчества авторов XVIII–XX веков потребовалась методология, базирующаяся на ином общеидеологическом фундаменте, – ею станет семиотика Ю.М.Лотмана.

Предполагается, что истоки мировоззрения, подобного мировоззрению Московского кружка, по всей видимости, лежат в некой общей парадигме европейского мышления, развивавшейся на протяжении веков и породившей ряд философских направлений, включающий в себя и идеологию Просвещения XVIII века[10], и позитивизм XIX века. Если воспользоваться терминологией М.Фуко («Слова и вещи»), это мышление предполагает принципиальную познаваемость мира, представляющего собой некий единый Порядок. Вычислив Систему, по которой конструируется этот Порядок, можно найти ключ к познанию мира во всей его совокупности. Ср. у Б.М.Гаспарова, сравнивающего структуралистов с будетлянами, создателями додекафонной гармонии и т.п.: «Все эти движения объединяло стремление не столько "высказаться" определенным образом и по определенным поводам, сколько дать кардинальное решение, подчиняющее своей категоризации материал, подлежащий освоению, – даже если для этого оказывается необходимым сначала препарировать этот материал так, чтобы он поддался соответствующей категоризации. Идея абстрактного семиотического "кода" (пусть самого сложного и неоднородного по составу), "манифестирующего"

---

[10] Ср., кстати, рассуждения американского семиотика-антрополога Клиффорда Гирца о работах Клода Леви-Стросса – одного из наиболее авторитетных для Московского кружка теоретиков структурализма: «Это различные выражения одной и той же глубинной структуры: всеобщего рационализма французского Просвещения. Несмотря на все обращения Леви-Строса к структурной лингвистике, теории информации, логике классов, кибернетике, теории игр и другим передовым доктринам, вовсе не де Соссюр, Шэннон, Буль, Винер или Нейман – истинные его *гуру* (и не Маркс или Будда, несмотря на ритуальное обращение к ним ради драматического эффекта), а Руссо» [Гирц 1973/2004: 410]. Хотя в настоящей работе по возможности избегаются отсылки к западной традиции и попытки проведения историко-культурных параллелей, однако для К.Гирца сделано исключение, т.к. он займет важное место в параграфе, посвященном А.Л.Зорину.

себя (пусть самым непрямым образом) в конкретных проявлениях культуры, кажется мне принадлежащей к этому семейству кардинально-упорядочивающих решений, и в этом своем качестве несущей печать определенного времени, места и обстоятельств» [Гаспаров Б. 1992/1998: 95].

II.

Утопизм раннего структурализма выражался, помимо прочего, также и в том, что методы структурной лингвистики воспринимались как ключ к постижению Системы. Однако универсализация лингвистического категориального аппарата, как известно, характерна для всех европейских структуралистских течений (восходя к идеям Пражского лингвистического кружка и теории семиологии Ф. де Соссюра): «Идея, что лингвистика может быть полезна при изучении других культурных феноменов, основана на двух фундаментальных прозрениях: во-первых, социальные и культурные феномены – не просто материальные объекты или события, но объекты или события, обладающие значением, а следовательно, знаки; во-вторых, они не являются автономными сущностями, а определяются как сеть отношений, одновременно внутренних и внешних. Акцент может делаться и на первом, и на втором суждении – тогда это будет, например, тот критерий, по которому могут пытаться разделять семиологию и структурализм. Но фактически оба явления неразрывны[11], и, изучая знаки, необходимо исследовать систему отношений, которая позволяет производить значения, – и наоборот, определять, какие отношения между отдельными предметами уместно выделять, можно, только рассматривая их как знаки. <…> Требование, что культурные системы могут с пользой интерпретироваться как "языки", означает, что их можно лучше понять, если обсуждать их в терминах, разработанных в лингвистике, и анализировать их с помощью тех процедур, которые используют лингвисты» [Culler 1977: 4, 6]. Универсализация метода

[11] Думается, что неразрывность этих двух течений заявлена здесь с излишней категоричностью: если для французского структурализма, который исследует Джонатан Каллер, это действительно имеет место быть, то между российскими вариантами структурализма и семиотики возникли более сложные отношения – см. об этом в параграфе о Ю.М.Лотмане.

и объекта свойственна и американской семиотике (хотя и с акцентом не столько на синтактике, сколько на прагматике, т.е. не на общей системе знаковых отношений, а на исследовании конкретных знаков и конкретных отношений между ними): «Но если семиотика – это полноправная наука, изучающая вещи и свойства вещей в их функции служить знаками, то она в то же время и инструмент всех наук, поскольку любая наука использует знаки и выражает свои результаты с помощью знаков. <…> Семиотика создает общий язык, применимый к любому конкретному языку или знаку, а значит, применимый и к языку науки, и к особым знакам, которые в науке используются» [Моррис 1938/2001: 46–47].

Думается, что отличительной особенностью именно российского структурализма явилось дальнейшее расширение этой универсализации из сферы научной в сферу мировоззренческую. Западные исследователи почувствовали это, хотя, пожалуй, излишне прямолинейно свели феномен к текущей политической борьбе: «Когда пала Берлинская стена? Как бы ни неожиданно это застало нас осенью 1989 года – действительно, никто не мог предвидеть ни этой быстроты, ни последствий, – я уверена, что трещины в стене начали ясно ощущаться в начале 1960-х. Несколько неизвестных ученых – мыслителей, выражающих волнующие идеи в непроницаемых выражениях, – сгруппировались, как колония муравьев, чтобы совершать свой субверсивный труд. Слишком сложная для уже зарождающейся медиа-культуры, их работа была, конечно, не видна из Парижа или Нью-Йорка; но для хозяев Кремля их подрывная деятельность не осталась незамеченной» [Kristeva 1994: 375]; «Значение семиотики культуры основывается прежде всего на ее субверсивности в рамках правящей советской системы. <…> именно отсутствие нормального научного плюрализма позволило семиотике занять незаурядное место в советской науке. И даже если она не полностью соответствует идеалу научного метода (какая теория отвечает ему в совершенстве?), создание собственной теории знаков было совершенно не

преднамеренно, семиотика культуры явилась важнейшей провокацией советского научного дискурса» [Эберт 2003: 46].

Разумеется, момент бытования Московского кружка и потом Тартуско-Московской школы в советском идеологическом пространстве был весьма немаловажен для понимания сущности и эволюции российского структурализма (в частности, не будь «большой парадигмы» Марксизма, структурализм вряд ли бы развился в идеологический конструкт Структурализм, пусть и неосознанно, – скорее остался бы исключительно научным течением). Но это – если воспользоваться в качестве метафоры терминологией классической семиотики Ч.С.Пирса и Ч.У.Морриса – лишь один, прагматический аспект. Не следует забывать также синтактику и семантику феномена «Структурализм».

III.

В отличие от просветительства и позитивизма, Московский кружок делал замечание, что анализирует не мир как таковой, а человеческие представления о нем; однако проблематичность соотношения мира и восприятия, природы и культуры в работах раннего структурализма эксплицитно не разрабатывалась (равно как и наделение знаковой сущностью явлений, не относящихся к сфере культуры). Если, конечно, не считать оговорок, уравнивающих явление и его восприятие: поскольку воспринимающий может наделить явление неким значением, значит, можно изучать знаковую структуру данного явления. Типичные примеры: «Любой акт человеческого поведения передает некоторую информацию, так как он может быть воспринят другими членами общества. В этом смысле все поведение можно считать информативным. Мы будем называть поведение *коммуникативным* в том случае, если субъект поведения вкладывает в свои действия *намерение* передать некоторую информацию» [Волоцкая et al. 1962: 65]; «Произведение искусства можно рассматривать как текст, состоящий из символов, в которые каждый подставляет собственное содержание (в этом отношении искусство аналогично гаданию, религиозной проповеди и так

далее). При этом социальная обусловленность при подстановке содержания здесь гораздо меньшая, нежели в языке; вообще, многозначность (принципиальная возможность многих интерпретаций) составляет существенную сторону произведений искусства. Под значением можно понимать ряд ассоциаций и представлений, связываемых с тем или другим символом. Значение вообще определяется как инвариант при обратимых операциях перевода (К.Шеннон). В данном случае имеет место **перевод** символов искусства в ряд ассоциаций и абстрактных представлений <…>» [Успенский Б. 1962: 125].

Кроме того, можно предположить, что на разработку данного тезиса существенно влиял кибернетический взгляд на человека и на культуру (а также, по-видимому, и окружающий мир вне человеческой культуры) как на устройства, обладающие программами знакопорождения и знаковосприятия. Этим утверждением, как уже упоминалось в обзорном параграфе, начинается рассуждение Вяч.Вс.Иванова о специфике семиотики в предисловии к сборнику тезисов Симпозиума по структурному изучению знаковых систем: «С точки зрения современных кибернетических представлений человек может рассматриваться как такое устройство, которое совершает операции над различными знаковыми системами и текстами, причем сама программа для этих операций задается человеку (и отчасти вырабатывается в нем самом) в виде знаков» [Иванов 1962: 3].

Стоит, правда, заметить, что кибернетика, при всей поистине ренессансной амбициозности ее общего проекта в 1950–1960-е годы[12], в реальных разработках ставила перед собой, как правило, гораздо более скромные задачи. Так, человек действительно понимался в ней в принципе как управляющая система (УС), воспринимающая, перерабатывающая и воспроизводящая информацию, однако практические исследования на стыке лингвистики и кибернетики свелись по преимуществу к разработке машинного перевода (МП) текстов научной и технической литературы,

---

[12] См. об этом подробнее в параграфе об А.Н.Колмогорове.

написанных на стандартизированном языке: «Назначение УС состоит в передаче и переработке информации. Информация должна быть записана на некотором определенном языке, понятном для УС. Когда различные УС вступают во взаимодействие, то возникает необходимость перекодирования информации с языка, понятного для одной из них, на язык понятный для другой. <…> Обычно, когда речь идет о переводе текстов с одного естественного языка на другой естественный язык (что является частным случаем перекодирования информации), то перерабатывающей УС является человек. Однако в массе работа человека-переводчика становится невыгодной. К этому ведут, в частности, и рост объема текстов, которые нужно переводить, и возрастающие требования к скорости получения переводов. В связи с этим возникает вопрос об автоматизации процесса перевода, т.е. о разработке МП. <…> Нужно иметь в виду, что реализация практически работающего МП явится событием чрезвычайной важности. С одной стороны, скоро выяснится, что далеко не все тексты, даже в пределах тех, на которые алгоритм рассчитан, будут переводиться одинаково хорошо. Как только использование текстов, переведенных машинами, войдет в обиход и выяснится, что эти тексты станут доступными иноязычным читателям быстрее, чем другие, начнется воздействие МП на естественные языки. Авторы специальных текстов, заинтересованные в широком и быстром их распространении, будут приспосабливать свой язык к возможностям МП» [Багриновская, Кулагина, Ляпунов 1971: 68–69, 72].

Московский же кружок поставил себе целью реализовать кибернетическую программу-максимум на практике, рассматривая и человека, и человеческую культуру, и мир в целом как производящие и сохраняющие информацию механизмы, модели которых можно построить путем анализа их языков и систем отношений между элементами этих языков. Поскольку мироздание базируется на информации и именно благодаря информации объект становится объектом, следовательно, если разработать эффективный метод анализа информации, то совершенное

познание окажется не только теоретически вероятным, но и практически выполнимым.

Можно утверждать, что эта идея лежит в самых основах раннеструктуралистского мировоззрения: если можно построить модель чего угодно, будь то культурный факт или природный, следовательно, в конечном счете можно построить глобальную модель всего мироздания. И она будет соответствовать структуре самого мироздания, т.к. модель изоморфна объекту. То, что подобные попытки не удалось осуществить в реальности, не лишает ранний структурализм этой направленности, до определенного момента функционировавшей в нем потенциально, как некий идеал, достичь которого весьма трудно, однако возможно.

Характерно начало программной статьи А.А.Зализняка, Вяч.Вс.Иванова и В.Н.Топорова в сборнике «Структурно-типологические исследования»: «Исследуя все множество знаковых систем, составляющих предмет семиотики, можно установить, что разные знаковые системы по-разному моделируют мир (понимаемый в кибернетическом смысле; ср. высказывание фон Неймана, по которому мир может рассматриваться как пассивная память машины)» [Зализняк, Иванов, Топоров 1962: 134].

IV.

Сказанному, на первый взгляд, противоречит следующий факт. Ю.М.Лотман в «Не-мемуарах» вспоминает: «<…> если фольклор и такие виды литературы, как детектив, то есть жанры, ориентированные на традицию, на замкнутые языки, считались естественным полигоном семиотики, то возможность применения семиотических методов для сложных незамкнутых систем, типа современного искусства, вообще подвергалась сомнению.

На первой Летней школе на эту тему произошла очень острая дискуссия между мной и И.И.Ревзиным <…>. Ревзин <…> слишком рано умер, именно в тот момент, когда он находился на пороге принципиально новых семиотических идей. Но в первой Летней школе он решительно

отстаивал неприложимость семиотических методов к индивидуальному творчеству, ограничивая их пределами фольклора» [Лотман 2003: 50–51].

Не является ли в таком случае именно Ю.М.Лотман носителем некого универсалистского сознания, в споре с которым один из активных участников Московского кружка И.И.Ревзин ратует за строгую научность?

Спор, однако, относится уже к следующему, «лотмановскому» периоду истории российского структурализма (пусть и к самому началу его), так что утверждать с определенностью, является ли спор о методе в основе своей спором общемировоззренческим, не представляется возможным. Поскольку нет возможности реконструировать дискуссию Ю.М.Лотмана и И.И.Ревзина доподлинно, приходится обращаться к косвенным источникам, из которых вытекает, что, возможно, именно И.И.Ревзин был сторонником Структурализма как всеобъемлющей «большой парадигмы»[13]. В 1965 году, полемизируя со статьей П.В.Палиевского «О структурализме в литературоведении», он говорил следующее: «Положительная программа, выдвинутая структурным направлением в поэтике, состоит в том, что, прежде чем анализировать в целом произведения большой литературы точными методами, нужно найти способы научного описания таких простейших составляющих художественного построения, как ритм, рифма, строфика, длина предложений, соотношение числа прилагательных и глаголов и т.д. и т.п., то есть явлений повторяющихся, массовых, причем таких, что их совокупность есть легко обозримый ансамбль. <…> Это очень трудоемкая работа, в которой каждый шаг достигается весьма значительными усилиями. Отсюда ясно, почему семиотический анализ применяется пока только к самым простым формам и аспектам

---

[13] Впрочем, для Ю.М.Лотмана на определенном этапе научной деятельности тоже оказалась характерна универсальная парадигма Семиотики. Однако по своим основным признакам она была качественно иной, чем парадигма Структурализма; формировалась она постепенно, начиная (самое позднее) с середины 1970-х годов, но вполне воплотиться смогла только в работах 1980-х годов и особенно в монографиях «Внутри мыслящих миров» (1990) и «Культура и взрыв» (1992). Анализ ее требует отдельного исследования и к тому же выходит за хронологические рамки настоящей работы, однако предварительные замечания о начале ее формирования см. в параграфе о Ю.М.Лотмане.

художественного произведения. А если речь идет об анализе законченных вещей, то пока структурными методами могут изучаться лишь такие сравнительно простые и массовые явления, как частушки, загадки, былины, сказки, мифы» [Ревзин 1965: 80–81]. Схожие идеи возникали и у других участников Московского кружка, однако это означало лишь недоработанность на данный момент методологического аппарата для анализа всех явлений бытия как знаковых систем, а не принципиальную невозможность такого анализа: «Можно предположить, что описание простых семиотических систем так же существенно для построения общей теории семиотики, как описание простых игр (рулетка, игра в кости, "крестики и нолики") для построения математической теории конфликтных ситуаций» [Лекомцева, Успенский 1962: 83]; «С методологической точки зрения большой интерес для семиотики имеет анализ наиболее простых знаковых систем, поскольку здесь легче всего выявить некоторые общие закономерности строения знаковых систем» [Зализняк 1962b: 78].

В этой связи категоричность И.И.Ревзина может объясняться просто: чтобы эффективно исследовать сложные структуры человеческой культуры (такие, как система современного искусства), необходимо сначала изучить те более простые уровни функционирования культуры, которые относятся к искусству так же, как фонология – к синтаксису. Благодаря принципу изоморфизма уровней модели, отображающие простые системы, будут в принципе адекватны и для сложных систем – при надлежащих корректировках и необходимых усложнениях (которые тоже несложно найти, изучив систему отношений между этими уровнями культуры).

Кроме того, сущности Структурализма как «большой парадигмы» противоречило то, что анализу могут подвергаться принципиально незамкнутые, открытые системы (т.е. то, на чем будет, наоборот, базироваться семиотика Ю.М.Лотмана и что он, как видно из «Не-мемуаров», отстаивал уже на первой Летней школе[14]). Ср. в этой связи

---

[14] См. об этом подробнее в параграфе о Ю.М.Лотмане.

подробный анализ научного подхода и системы взглядов участника Московского кружка Б.А.Успенского как «нейтрального, инвариантного случая семиотической историографии» и Ю.М.Лотмана как «неманифестированного дрейфа поздней советской семиотики к постструктурализму или к семиологии (в том смысле, какой он получил во французском структурализме)» [Калинин 2009: 32 и сл.].

Впрочем, не менее вероятен и такой вариант интерпретации, что И.И.Ревзин изначально относился к структуралистскому методу исключительно как одному из возможных методов, хорошо работающему в определенных областях гуманитарных наук, но не претендующему на единоличность и универсальность. В таком случае стремление Ю.М.Лотмана применять «недоразработанный» метод могло показаться И.И.Ревзину просто слишком поспешным.

Стоит, однако, заметить, что неприятие «универсальности» у И.И.Ревзина проявилось лишь в применении структуралистского метода к внелингвистической сфере. Для анализа естественных языков И.И.Ревзин в те же годы разрабатывал вполне по-структуралистски универсальные методики моделирования, что полнее всего проявилось в его книге «Модели языка» (М., 1962). Построив стандартную поуровневую (фонология – морфология – синтаксис) систему формальных категорий применительно к русскому языку, в последней главе И.И.Ревзин рассуждает о принципах порождения языка и предлагает следующую модель: автомат принимает от источника информацию, искаженную под влиянием шума в канале связи, и перерабатывает ее, причем сама структура автомата распадается на две части – устройство порождения и устройство упорядочения информации: «Мы будем считать, что упорядочивающее устройство получает информацию от источника, распределяет ее на основании каких-то критериев по классам (например, категориям, окрестностям) и передает ее порождающему устройству, которое в свою очередь передает в упорядочивающее устройство информацию о тех элементах, которые заняли предшествующие места в

производимых отрезках фразы. Эта дополнительная информация дает возможность окончательной категоризации <…>. Можно было бы считать также, что упорядочивающее устройство связано обратной связью и с источником информации, влияя уже на характер производимой этим источником цепочки символов. <…> Наконец, можно надеяться, что эта модель даст возможность построения – на кибернетических основаниях – строгой типологии языков, которая будет основана на последовательном сравнении упорядочивающих устройств. По-видимому, может быть создан универсальный набор признаков, исходя из которых можно получить самую разнообразную категоризацию, учитывающую особенности всех языков мира» [Ревзин 1962а: 164–166].

Если перенести эту схему с устройства языка на устройство текста (литературного, культурного, мировоззренческого), то получится классическая картина той системы, которая была главным объектом внимания Московского кружка. В лингвистических взглядах И.И.Ревзина заметно явное влияние культурологических и общеидеологических теорий В.Н.Топорова.

V.

Становление структуралистской «большой парадигмы» Московского кружка произошло во многом благодаря тому, что в первый год существования Сектора структурной типологии его возглавлял В.Н.Топоров (1960–1961), которого можно считать главой данного направления. Хотя проведение Симпозиума и выпуск сборника «Структурно-типологические исследования», ставших наиболее ярким выражением Структурализма как мировоззрения, проходили уже при Вяч.Вс.Иванове, принявшем руководство сектором в 1961 году, однако в обоих мероприятиях проявились тенденции, заложенные именно В.Н.Топоровым. В качестве примера можно указать на то, что в отделе рецензий, занявшем треть объема «Структурно-типологических исследований» и продемонстрировавшем, в русле каких идей и традиций надо воспринимать новое течение, В.Н.Топоровым

написано 15 из 40 рецензий, причем по наиболее знаковым авторам и работам (К.Леви-Стросса, Р.О.Якобсона и т.д.).

Ср. также в воспоминаниях И.И.Ревзина, написанных в 1967–1968 годах: «Любопытно, что именно Вл.Ник. определил семиотическую направленность сектора, столь резко отделившую нас от других групп и явившуюся первопричиной <…> вражды с Дирекцией, длящейся уже более пяти лет. Мне кажется, Вл.Ник-чу было явно не по душе ходить в директорских любимчиках – отчасти этим объясняется сделанный им выбор направления. Этим, а главное, широтой его гуманитарных интересов и глубиной философского подхода к проблеме ценности. Во всяком случае именно Вл.Ник. предложил заниматься изучением пантомимы, и некоторое время Дима (Сегал. – *Н.П.*), Таня Николаева и еще кто-то ходили в какую-то захудалую труппу (я там однажды был – и этого оказалось достаточно!). Именно Вл.Ник. предложил Тане Цивьян заняться этикетом. По-видимому, интерес Тани Николаевой к неязыковой коммуникации также сформировался под влиянием Вл.Ник-ча. Впрочем, этого я точно не знаю» [Ревзин 1997: 826].

Сам В.Н.Топоров не стремился к тому, чтобы эксплицировать свои взгляды – в течение «долотмановского» периода основным ретранслятором структуралистских идей оставался Вяч.Вс.Иванов, а после 1964 г. – Ю.М.Лотман. Однако под несколькими коллективными текстами, которые сами структуралисты считали знаковыми, стоит его имя: в сборнике «Структурно-типологические исследования» – это своего рода манифесты «О возможности структурно-типологического изучения некоторых моделирующих семиотических систем» (совместно с А.А.Зализняком и Вяч.Вс.Ивановым) [Зализняк, Иванов, Топоров 1962] и «Структурная типология и славянское языкознание» (совместно с М.И.Бурлаковой, Т.М.Николаевой и Д.М.Сегалом) [Бурлакова et al. 1962]; в более позднем сборнике «Структурная типология языков» – статья «Постановка задачи реконструкции текста и реконструкции знаковой системы» (совместно с

Вяч.Вс.Ивановым) [Иванов, Топоров 1966]; в книге И.И.Ревзина «Модели языка» В.Н.Топоров является ответственным редактором. Также манифестационной считалась его рецензия на статью Р.О.Якобсона «Лингвистика и поэтика» в тех же «Структурно-типологических исследованиях», где В.Н.Топоров провозгласил следующее: «В настоящее время трудно спорить с тем, что поэзия может и должна рассматриваться как **особым образом организованный язык.** Отсюда и современный статут поэтики, определяющий ее в качестве одной из лингвистических дисциплин. <…> противники рассмотрения поэтики как чисто лингвистической дисциплины должны сдать еще одну, может быть, важнейшую позицию и оставить уже не столько перед лингвистами, сколько перед собой, вопрос: есть ли среди явлений, анализируемых поэтикой, такие, которые не могут быть достаточно удовлетворительно объяснены с лингвистической точки зрения? (во всяком случае метр не относится к таким явлениям). Пока факты такого рода не найдены, едва ли целесообразно подвергать сомнению оправданность лингвистического подхода к объектам, изучаемым поэтикой; кстати, допустимость такого подхода в поэтике в известных отношениях была бы очевидной и в том случае, если бы поэзию нельзя было представить как особый вид организованности языка и пришлось бы видеть в ней лишь одну из семиотических систем (ср., например, приложение некоторых методов, выработанных в лингвистике, к изучению знаковых систем религии, кино, жестов (кинесика) и т.п.)» [Топоров 1962: 264–265].

Пожалуй, это наиболее яркий пример высказывания индивидуально В.Н.Топорова раннеструктуралистского периода[15]. Однако черты мировосприятия В.Н.Топорова проступают в его конкретных исследованиях: в частности, буддийская культура предстает в его работах как сложная иерархизированная семиотическая Система, все уровни которой – от канонов построения изобразительного искусства до восприятия общей структуры

---

[15] Дальнейшая – весьма сложная – эволюция взглядов В.Н.Топорова не входит в хронологические рамки данной работы.

мироздания – изоморфны друг другу: «Среди особенностей древнеиндийской культуры выделяются: 1) характеризующий ее основные концепции **универсализм**, проявляющийся в том, что эти концепции отражаются в определенном виде в различных сферах – в религии, философии, науке, литературе, искусстве; 2) **высокая степень знаковости** ее проявлений (семиотичность), доходящая иногда до того, что визуальное или иное непосредственное подобие решительно оттесняется опосредствованными, в особенности символическими, ассоциациями (ср. учение о *дхвани* в поэтике); 3) **связь одного и того же плана выражения с несколькими разными планами содержания.** Все эти особенности придают древнеиндийской культуре особую синтетичность. Поэтому, вероятно, не покажется странной задача, суть которой сводится к заключению об одной культурной сфере (в данном случае – религиозно-космологической) на основании анализа материалов, извлеченных из другой, гораздо более узкой и специализированной сферы (в данном случае – буддийского изобразительного искусства). Обоснованность такого подхода, как и целесообразность семиотического анализа произведений буддийского искусства, могла бы быть подтверждена и доказана многочисленными свидетельствами древнеиндийских текстов и, в частности, теми, которые специально касаются иконографии <…>» [Топоров 1964: 101].

(В связи с этим отдельного решения требует вопрос, является ли такая трактовка буддийского мировидения отображением мировидения самого В.Н.Топорова или, наоборот, В.Н.Топоров формировал свои взгляды под влиянием буддизма; здесь ответ на него предлагаться не будет.)

Вяч.Вс.Иванов, всегда являвшийся авторитетным деятелем для Московского кружка и в итоге ставший его формальным руководителем, хотя и разделял во многом его идеологию, но был сильнее укоренен в отечественной гуманитарной и философской традиции (о чем сам позднее будет подробно рассказывать в воспоминаниях «Голубой зверь» [Иванов 1995]), чтобы принять сформированное В.Н.Топоровым мировоззрение

безоговорочно. Благодаря этому после 1964 года Вяч.Вс.Иванову окажется проще, чем остальным членам кружка, перейти к семиотике как дисциплине (хотя при этом не сразу оставив Структурализм как мировоззрение): именно он стал одним из главных «связующих звеньев» Тартуско-Московской школы с широкой традицией отечественной филологии и философии. Ср.: «<…> в лице Иванова мы имели <…> постоянного открывателя все новых и новых отечественных авторитетов» [Левин 1994: 310].

Предполагается, что расхождение формально-универсалистского подхода В.Н.Топорова и более гибкого подхода Вяч.Вс.Иванова началось по крайней мере в 1961 году, причем в пределах «чистой» лингвистики: на конференции, проходившей в Институте русского языка в декабре 1961 года и посвященной трансформационному методу в лингвистике, В.Н.Топоров выдвинул следующую идею: «Для целей структурной типологии необходимо установить универсальную систему операторов, при помощи которой можно было бы единообразно описать любую конструкцию любого языка. Для целей диахронической лингвистики необходимо фиксировать все трансформы каждой ядерной конструкции. Появление или исчезновение каждого нового трансформа рассматривается как единица времени или шаг в развитии данного языка из языка-источника, общего для нескольких языков». Не споря насчет сущности диахронии, Вяч.Вс.Иванов, однако, не согласился с чисто формальным пониманием трансформационного метода: «В качестве трансформации рассматривались лишь такие преобразования разных сочетаний морфем, при которых сохраняется смысл. К преобразованиям такого рода были отнесены и разные виды синонимии (словарной, словообразовательной, синтаксической). Из такого понимания трансформации следует, что лингвистическое описание не может быть исчерпывающим, если оно ограничено изложением формального аппарата ТГ (трансформационной грамматики. – *Н.П.*). Необходимо изучение смысла, т.е. изучение внеязыковых ситуаций, каждая из которых может быть описана в языке разными способами» [цит. по: Апресян 1962: 138–139]. Однако

подобный подход приводит к восприятию системы языка как незамкнутой, т.е. приемлемой для анализа структурными методами, но не имеющей смысла с точки зрения Структурализма как «большой парадигмы». По сути дела, это ближе к идеям А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова, а также отчасти Ю.М.Лотмана[16], чем Московского кружка.

VI.

Назревающие внутренние расхождения, окончание эпохи Оттепели, характеризующейся утопическим сознанием, а также появление в 1964 году на горизонте Московского кружка Ю.М.Лотмана, изначально предлагавшего построение не Структурализма, а семиотики с качественно иным набором методов и исследовательских оптик, привело к разрушению «большой парадигмы» и к перерождению Структурализма из мировоззренческого конструкта в научную теорию. Разумеется, этот процесс произошел не одномоментно, а осуществлялся постепенно в течение всех 1960-х и отчасти 1970-х годов. Тем не менее в областях, пограничных между лингвистикой и исследованием других знаковых систем (в частности, семиотической теорией текста), черты Структурализма периодически возникали достаточно явно:

«При любой дешифровке, как и при всех других видах реконструкции текстов на естественных языках, следует исходить из того, что дешифруемый текст (как и любой языковый текст) может быть представлен как результат последовательных преобразований, осуществляющихся в соответствии с порядком иерархии языковых уровней от наиболее общих смысловых уровней через последовательность более дробных уровней, оперирующих единицами все меньшей величины, вплоть до фонологических уровней (фонем и различительных признаков) <…>. Представление текста на естественном языке в письменной форме можно было бы описать, исходя из идеализированной схемы работы автомата, который преобразовывает текст, последовательно развертывая его от общего замысла текста к низшим

---

[16] «Отчасти» – из-за иного понимания сущности диахронии. См. подробнее об этом в параграфе о Ю.М.Лотмане.

уровням, причем каждому из уровней или некоторой комбинации разных уровней в принципе может соответствовать запись текста с помощью выводящего устройства <…>. При истолковании содержания дешифруемого сообщения дешифровальщик исходит из гипотезы об отражении в нем семантических универсалий, свойственных разным языкам мира, и некоторых концептов и денотатов, специфических для данного типа культуры или данного типа общества (ср. вероятность появления терминов, обозначающих жрецов, жриц, рабов и рабынь в древних иероглифических текстах, которые, по наблюдению Ю.В.Кнорозова, обычно создаются в жреческих обществах). Всю совокупность сведений о данной культуре и обществе, которыми располагает дешифровальщик, в известном отношении можно рассматривать как сообщение, с которым при дешифровке соотносится данный конкретный текст. Отсутствие такого общего сообщения о данной культуре <…> практически делает невозможной проверку дешифровки реального содержания текста, так как остаются неизвестными ограничения, определяющие языковый каркас данной культуры, и поэтому возможны сколь угодно широкие интерпретации. Для дальнейшей формализации (а в будущем и автоматизации) работ по дешифровке представляется целесообразной разработка способов формального представления этого общего сообщения о данной культуре, т.е. о моделировании мира в данном коллективе <…>. Возможность взаимных переводов между разными моделирующими семиотическими системами и наличие многих таких систем в любом человеческом коллективе делает помехоустойчивой и надежной передачу плана содержания сообщений, относящихся к культуре этого коллектива. Поэтому с точки зрения семиотики задачу таких комплексных наук, как, например, исследование славянских древностей можно понять как восстановление на разных уровнях таких сообщений на основании сигналов, дошедших до него по разным каналам связи. К числу таких сигналов относятся и различные археологические памятники и свидетельства материальной культуры,

которые можно интерпретировать как сообщения в определенном коде, так же как и данные, получаемые культурной антропологией <…>. Весь комплекс сигналов, описываемых в различных исторических и этнографических дисциплинах и интерпретируемых преимущественно путем типологических сопоставлений, может служить как для реконструкции самих сообщений, относящихся к данной культуре (например, праславянской), так и для реконструкции того социального фона и того коллектива, без знания особенностей которого нельзя восстановить семантическую и прагматическую сторону реконструируемых сообщений» [Иванов, Топоров 1966: 5, 11, 24–25].

Здесь лингвистические задачи недвусмысленно становятся ключевыми при исследовании литературных текстов, которые, в свою очередь, оказываются изоморфными любым другим проявлениям культуры (за счет чего эти проявления тоже могут быть названы текстами и исследоваться лингвистическими методами, даже если это невербальные искусства или археологические памятники). Подобный генерализирующий подход начиная с 1970-х годов отойдет на периферию интересов Тартуско-Московской школы в пользу семиотического исследования уникальных фактов культуры.

Но и во взглядах на язык предпочтения постепенно изменятся, хотя этот процесс займет более долгий срок. В области лингвистики формально-структуралистские практики стали активно заменяться чисто семиотическими лишь к 1990-м годам (теория языковых регистров В.М.Живова, когнитивная лингвистика Б.М.Гаспарова и др.).

В результате в 1997 году в журнале «Вопросы языкознания», на страницах которого в конце 1950-х годов Московский кружок впервые заявил о себе публично, бывший участник Тартуско-Московской школы В.М.Живов и американский лингвист А.Тимберлейк опубликовали статью-манифест с характерным названием «Расставаясь со структурализмом (тезисы для дискуссии)». «Большая парадигма» окончательно объявлялась отошедшей в прошлое и в основе своей (ныне) несостоятельной, на смену

анализу системности языка предлагалось ввести наблюдение над динамикой речи и языковыми регистрами с опорой на активную роль носителя языка (т.е. поворот к прагматике[17] и к лингвистической социологии[18]) [Живов, Тимберлейк 1997].

VII.

К истории литературы тот комплекс методов, который разрабатывал Московский кружок, применим лишь отчасти.

Во-первых, при том подходе, какой был представлен в Структурализме, невозможно было изучать динамику литературного процесса – литературная эволюция представала как ряд переключений из одних синхронических состояний в другие (наподобие относительной эволюции древних языков). История литературы при этом представала не как сложный комплекс направлений и индивидуально-авторских стратегий, динамически изменяющийся и обусловленный конкретно-историческим моментом, а как работа аппарата, ступенчато проходящего одни стадии вслед за другими. Такой подход противоречил принципам литературоведения, однако давал определенное идеологическое преимущество при имманентном анализе художественного текста: благодаря нему можно было сосредоточиться на внутренней структуре произведения без необходимых в официальном литературоведении отсылок к постулатам марксизма. В результате обычно объектом изучения становился текст древней культуры – например, буддийской, – или же текст стихотворный, вне зависимости от автора и эпохи его создания: тексты А.С.Пушкина, М.И.Цветаевой или А.П.Межирова.

Во-вторых, литература для Структурализма была значима не сама по себе, а как проявление (манифестация) общекультурных тенденций, обусловленных, в свою очередь, мировоззренческими парадигмами эпохи.

---

[17] О прагматическом аспекте Структурализма см. также в параграфе об А.К.Жолковском и Ю.К.Щеглове.

[18] О социологическом повороте в современном гуманитарном знании см. подробнее в параграфах о Ю.М.Лотмане и С.Л.Козлове.

Таким образом, можно утверждать, что Московский кружок закладывал основы для анализа текстов художественной литературы в русле не филологическом, а культурологическом.

§ 3. **А.Н.Колмогоров и М.Л.Гаспаров: структурализм как научный метод.**

I.

Хотя исследование концепций М.Л.Гаспарова и группы А.Н.Колмогорова объединено в один параграф, но объединение здесь происходит по принципу контраста. Поэтому необходимо сразу сказать о принципиальных сходствах между М.Л.Гаспаровым и группой А.Н.Колмогорова в чисто методологическом плане. Это единый категориальный аппарат (восходящий к разработкам Андрея Белого, формалистов, К.Ф.Тарановского), единый объект анализа (метр, ритм, рифма, строфика русского стиха – фронтальному анализу подвергалась вся формальная сторона русского стихосложения), также, на первый взгляд, – единые методы анализа материала (статистические, теоретико-вероятностные). В своих работах исследователи активно ссылались друг на друга. В итоге сложилось мнение, что стиховедение М.Л.Гаспарова и А.Н.Колмогорова – это некое целостное направление, базирующееся на строго индуктивном анализе материала, это образец строгой научности, строящейся исключительно на верифицируемых фактах и далекой от любых проявлений абстрактного теоретизма и идеологизма. Однако такой унифицирующий подход не дает возможности увидеть глубокие различия между этими выдающимися учеными.

II.

Разными были конечные цели. Для М.Л.Гаспарова – это выработка методов, благодаря перенесению которых из сферы стиховедения на всю область литературоведения можно построить филологию как точную науку. У А.Н.Колмогорова была иная задача, кибернетическая, философская и гораздо более глобальная: если при материалистическом понимании мира материя первична, а жизнь благодаря некоему комплексу условий самозародилась из нее, то нельзя ли смоделировать подобную ситуацию искусственно и произвести искусственные формы жизни? Для понимания механизмов этого моделирования необходимо изучить точными методами

духовно-мыслительную сферу человека. Обычно А.Н.Колмогоров не склонен был публично развертывать эту фаустианскую программу, однако летом 1961 года он сделал доклад, вскоре опубликованный в двух номерах журнала «Техника – молодежи» [Колмогоров 1961a; Колмогоров 1961b], суть которого сводилась к следующему:

«Подчеркну основные идеи доклада, имеющие наиболее широкий интерес.

I. Определение ЖИЗНИ как особой формы существования белковых тел было прогрессивно и правильно, пока мы имели дело только с конкретными формами жизни, развившимися на Земле. В век космонавтики возникает реальная возможность встречи с формами движения материи, обладающими основными, практически важными для нас свойствами живых и даже мыслящих существ, устроенных иначе (см. статью "ЖИЗНЬ" в БСЭ). Поэтому приобретает вполне реальное значение задача более общего определения понятия ЖИЗНИ.

II. Современная электронная техника открывает весьма широкие возможности МОДЕЛИРОВАНИЯ[19] жизни и мышления. Дискретный (арифметический) характер современных вычислительных машин и автоматов не создает в этом отношении существенных ограничителей. Системы из очень большого числа элементов, каждый из которых действует чисто "арифметически", могут приобретать качественно новые свойства.

III. Если свойство той или иной материальной системы "быть живой" или обладать способностью "мыслить" будет определено чисто функциональным образом (например, любая материальная система, с которой можно разумно обсуждать проблемы современной науки или литературы, будет признаваться мыслящей), то придется признать в

[19] Решение вопроса, что представляло собой понимание моделирования в кибернетике в целом и в концепции А.Н.Колмогорова в частности и каковы его типологические сходства и отличия от понимания моделирования в трудах Московского кружка и Ю.М.Лотмана, не входит в рамки настоящей работы.

принципе вполне осуществимым ИСКУССТВЕННОЕ СОЗДАНИЕ живых и мыслящих существ.

IV. При этом, однако, следует помнить, что реальные успехи кибернетики и автоматики на этом пути еще значительно более скромны, чем иногда изображается в популярных книгах и статьях. Например, при описании "самообучающихся" автоматов или автоматов, способных "сочинять" музыку или писать стихи, иногда исходят из крайне упрощенного представления о действительном характере высшей нервной деятельности человека и, в частности, творческой деятельности.

V. Реальное продвижение в направлении понимания механизма высшей нервной деятельности, включая и высшие проявления человеческого творчества, естественно, не может ничего убавить в ценности и красоте творческих достижений человека. Я думаю, что это то же самое, что и лозунг "Материализм – это прекрасно!", поставленный подзаголовком в мой доклад» [Колмогоров 1961а: 16].

Сам А.Н.Колмогоров определял свою философскую позицию как вариант мировоззрения гуманизма [Колмогоров 1994: 185–186].

Но это – программа-максимум, являющаяся конечной задачей кибернетики, а не структурного стиховедения. В реальности, как уже говорилось выше, группа А.Н.Колмогорова занималась строгим анализом формальной стороны поэзии XIX–XX веков, на первый взгляд – аналогично М.Л.Гаспарову. Однако при ближайшем рассмотрении и здесь можно заметить, что методики этого анализа идентичны, а цели несколько различаются. Для иллюстрации имеет смысл сравнить исследование дольника в русской поэзии первой половины XX века, проведенное А.Н.Колмогоровым и А.В.Прохоровым, и работу М.Л.Гаспарова, посвященную эволюции ямба и хорея в советской поэзии[20].

---

[20] Дата публикации этой статьи (1967 год) находится за пределами временны□х рамок настоящей работы, однако строгое хронологическое ограничение в данном случае релевантно только для Московского кружка и Ю.М.Лотмана: темпы и принципы эволюции взглядов М.Л.Гаспарова были иными.

III.

Выводы, сделанные на основе статистических подсчетов, М.Л.Гаспаров и А.Н.Колмогоров с А.В.Прохоровым формулируют типологически идентично: «Распространенное мнение, согласно которому в XX в. русские поэты утратили ощущение самостоятельности слога, способность бессознательно "считать" число слогов – при ближайшем рассмотрении оказывается ошибочным. Наоборот, у многих поэтов XX в. с усилением склонности оперировать более крупными единицами – группами слогов, объединенных одним сильным ударением, – способность к бессознательному точному счету слогов обострилась. <…> В XIX в. русские поэты с большой осторожностью употребляли в ямбе и хорее пятисложные междударные промежутки (пропуск двух метрических ударений подряд), предпочитая те варианты ритма с этими промежутками, в которых положение словораздела делает ассимиляцию редкой формы ритма законам метра более легкой. Лишь Багрицкий стал употреблять пятисложные промежутки в четырехстопном и пятистопном ямбе с той частотой, которая соответствует естественным возможностям русского языка, без боязни используя все типы словоразделов. Багрицкому же принадлежит и написанное пятистопным хореем стихотворение "Фронт", в котором **семисложный** промежуток не только появился в чистом виде без поддерживающих ощущение метричности стиха побочных ударений, но приобрел исключительную художественную выразительность в последнем стихе законченного периода, включающего в себя еще три пятисложных безударных промежутка (два в конце четырехстиший, а третий – непосредственно перед семисложным промежутком) <…>» [Колмогоров, Прохоров 1963: 93–94]; «Все эти сдвиги в ударности отдельных стоп отдаляют ритм стиха XX в. от ритма XIX в. и приближают его к ритму XVIII в. В 4-стопном ямбе и хорее показатели XX в. лежат как раз между показателями XIX и XVIII вв. В 5-стопном хорее рисунок ритмической кривой XX в. гораздо ближе к ритмической кривой долермонтовского, чем послелермонтовского стиха. А в 6-стопном хорее XX

в. тенденция XVIII в. к ударности 3-й стопы (к мужской цезуре) проявляется даже сильнее, чем в самом XVIII в.: стих такого строения, как у советских поэтов, был в XVIII в. разве что у Тредиаковского и раннего Ломоносова, но не у позднейших авторов. Поэтому мы вправе говорить о своеобразной **архаизации** ритма в ямбах и хореях советского времени. <…> Таким образом, архаизация ритма в XX в. не ограничивается 4-стопным ямбом, а распространяется на все ямбические и хореические размеры; она не ограничивается началом века, а продолжается, и даже усиливается, и в советское время» [Гаспаров 1967: 63, 66].

Выводы из этих двух статистических подборок, однако, различны по своей сути. А.Н.Колмогоров и А.В.Прохоров остаются исключительно на формальном уровне – все выкладки им были важны, чтобы дать предварительное определение дольника: «Дольник – это стих, обладающий следующими свойствами:

1. Он воспринимается в соотнесении с некоторой схемой, предусматривающей в каждом стихе определенное число долей.

2. В простейших полноударных формах стиха каждой доле соответствует метрическое ударение. Число слогов перед первым метрическим ударением и в промежутках между метрическими ударениями в полноударных стихах подвержено не подчиненным точным правилам колебаниям, но размах этих колебаний ограничен (в простейшем случае "правильного" дольника – для анакрузы 0–2, для междударных промежутков 1–2).

3. Если некоторые доли остаются безударными (в этом случае условно говорят о пропуске метрического ударения), то им соответствует увеличенное число безударных слогов между метрическими ударениями смежных долей или увеличенная длина анакрузы (в случае безударной первой доли).

4. Дополнительные не метрические ударения (если они имеются) расположены так, что не мешают отсчету долей, т.е. так, что их

дополнительный характер воспринимается бессознательно на слух» [Колмогоров, Прохоров 1963: 95].

Видимо, не будет большой натяжкой предположить, что для группы А.Н.Колмогорова во главе угла – исследование имманентных свойств самой системы стихосложения, проявляющихся и изменяющихся исторически (в данном случае – в русской поэзии первой половины XX века), но на неком инвариантном уровне присущих ей вне зависимости от конкретных эпох. Стиховедение А.Н.Колмогоровым определяется как «<…> лаборатория для изучения характера *отдельных элементарных* механизмов бессознательной синтетической деятельности <…>» [Колмогоров 1994: 183]. Это апробация методов статистических исследований относительно простых динамических систем, причем сами методы могут быть позднее перенесены на гораздо более сложные системы, в идеале – на процесс функционирования жизни как таковой.

В этом пункте А.Н.Колмогоров существенно сблизился с Московским кружком; интерес оказался взаимным, и московские структуралисты одно время (на рубеже 1950–1960-х годов) рассматривали его исследования как пример удачного использования их собственных методов. Вяч.Вс.Иванов сотрудничал с ним наиболее тесно и на конференции 1961 года в Горьком даже сделал доклад, примыкавший к серии выступлений участников группы А.Н.Колмогорова. Некоторые оппоненты структурализма в результате стали просто отождествлять все течение исключительно с колмогоровской инициативой: «И здесь – это очень важный момент, который структуралисты пытаются скрыть или, может быть, не хотят о нем думать, – он (структурализм. – *Н.П.*) просто-напросто собирает материал для *проверки математических идей* какого-нибудь крупного ученого, например, А.Н.Колмогорова» [Палиевский 1963/1979: 81]. П.В.Палиевский, конечно, продемонстрировал тенденциозность и нежелание понимать особенности концепций тех, с кем он вступил в спор, однако сам факт того, что два различных научных течения кто-то смог просто спутать, показателен.

Близость А.Н.Колмогорова Московскому кружку проявилась в том, что он, как и они, предполагал изоморфизм между системами различной сложности и универсальность категориального аппарата для их анализа. Но это привело к тому, что далекие от структурализма люди в первой половине 1960-х годов стали отказываться видеть принципиальные различия как в мировоззрении А.Н.Колмогорова и участников Московского кружка, так и в задачах структурализма и кибернетики.

IV.

У М.Л.Гаспарова же конечная цель статистического анализа – не определение параметров системы как таковой, а исследование литературной эволюции, тенденций, отраженных на формальном уровне, но обусловленных исторически: «Индивидуальные отклонения от средней линии ритма в советское время больше, чем когда бы то ни было: так, индивидуальные расхождения в ударности 2-й стопы 4-стопного ямба не превосходили у поэтов XVIII в. 20%, у поэтов второй половины XIX в. – 13%, а у советских поэтов они достигают 27%; расхождения в ударности 2-й стопы 5-стопного хорея в XVIII–XIX вв. не превышали 20%, а у советских поэтов они достигают 30%. Это значит, что в ямбах и хореях советских поэтов сосуществуют самые несхожие ритмические тенденции: одни поэты продолжают традицию архаизированного ритма начала XX в., другие – через голову поэтов начала XX в. продолжают традицию "гладкого" стиха XIX в. Первых мы будем условно называть "архаизаторами", вторых – "традиционалистами". Между теми и другими – множество переходных ступеней; равнодействующая между этими разнородными ритмическими тенденциями отдельных поэтов дает средний ритм поэтической эпохи – величину, которую, конечно, нельзя фетишизировать» [Гаспаров 1967: 66].

Это связано с индивидуальными поэтическими стратегиями конкретных авторов: «Легко заметить, что в противоположных группах мы все время находим одни и те же имена. И легко заметить, что "архаизаторы", продолжающие ритмическую тенденцию начала XX в. – Пастернак,

Антокольский, Сельвинский, Багрицкий, Луговской и др. – не только по ритму, но и по стилю, по образному строю, по тематике ближе к поэтам начала XX в., чем "традиционалисты" – Бедный, Исаковский, Твардовский, Рыленков и др., во всех отношениях ориентирующиеся на традиции "чистого" XIX в. Можно было бы возразить, что такое совпадение ритмических и стилистических ориентаций легко было предвидеть заранее. Но это не совсем так. Например, по тематике и стилю стихов Суркова мы бы ждали увидеть его рядом с Твардовским и Исаковским, а находим мы его среди поэтов, гораздо более близких к ритму начала XX в., например к стиху Гумилева. Неожиданно и соседство Заболоцкого и Кедрина с Твардовским и Исаковским; но при ближайшем рассмотрении можно согласиться, что и те и другие могут быть названы "традиционалистами" не только в области метрики, хотя и образцы и приемы их традиционализма различны. Неожиданно и соседство Бедного и Антокольского среди "традиционалистов" 6-стопного ямба, хотя и тут нетрудно найти общее между этими несхожими авторами: для обоих 6-стопный ямб – не экзотика, не материал для стилизации, а живое явление, и они свободно применяют его вне тематических ограничений, в самых близких им жанрах – Антокольский в патетической лирике, Бедный – в стихотворной публицистике» [Гаспаров 1967: 66–67].

Здесь уже заметен акцент М.Л.Гаспарова на рассмотрении индивидуального явления не как закономерного элемента системы, а как элемента, всегда готового из этой системы выпасть или занять по отношению к ней диалектически сложную позицию. Конечно, пафос полного разрушения систем во имя уникальности каждого конкретного текста М.Л.Гаспарову был чужд и тогда, и позднее; в отличие от ряда участников Тартуско-Московской школы (например, поздних Ю.М.Лотмана, А.К.Жолковского и Б.М.Гаспарова) он никогда не хотел тяготеть ни к каким разновидностям постструктурализма, да и от самой школы настойчиво себя отделял [см.: Гаспаров 1994]. Однако система, анализируемая М.Л.Гаспаровым, не

самоценна и универсальна (в отличие и от А.Н.Колмогорова, и от Московского кружка), а обусловлена культурно-исторически.

Может быть, благодаря именно этому в 1990–2000-е годы М.Л.Гаспаров будет так настойчиво утверждать Ю.М.Лотмана как уникальный феномен, фактически отрывая его от остальной Тартуско-Московской школы. Семиотика Ю.М.Лотмана 1960-х годов оказалась весьма близка ему и по методикам подхода к материалу, и по научному пафосу в целом: «Чужие оценки были скорее безразличны (исключения – только Лотман в области науки и Петровский в области перевода) <…>» [Гаспаров 2004: 31]. На другие проявления структурализма он смотрел сложнее. Стремление к научности, которое, по мнению М.Л.Гаспарова, является имманентным свойством любого структурного подхода, ему было близко: «Около десяти лет в Москве работал кружок (или семинар?), похожий на филиал московско-тартуской школы <…>; сперва по стиху, потом по поэтике, потом по всему кругу московско-тартуских интересов. Темы были разные и, решаюсь сказать, методы были разные. Общим было только стремление к научности, к "точности и эксплицитности" (слова Ю.И.Левина. – *Н.П.*)» [Гаспаров 1994: 203]. В то же время к «эсотеричности» структурализма Московского кружка М.Л.Гаспаров относился с определенной иронией: «Вообще же язык давался с трудом. Слово "модель" я еще долго переводил в уме как "схема" или "образец", а слово "дискурсивный" – как "линейный". "Если наша жизнь не текст, то что же она такое?" – сказал однажды с кафедры Р.Д.Тименчик, и я понял, что не все то термин, что звучит» [Гаспаров 1994: 301]. Очевидно, за критикой терминологического языка здесь скрывается критика неотрефлексированности терминологического аппарата: М.Л.Гаспаров боится, что это может привести к двусмысленностям и помешать созданию точной науки, предопределить слишком вольное отношение к материалу и исказить строго научный культурно-исторический взгляд.

В дальнейшем культурно-исторический взгляд на анализируемый материал позволит М.Л.Гаспарову прийти к рассмотрению взаимодействия метра и смысла, но определенные элементы этого наблюдаются уже в 1960-е годы – интерес к связи между ритмом и жанром стихотворного произведения: «Связь ритмических тенденций с жанрами не совсем ясна из-за ограниченности материала; однако можно отметить, что в 5-стопном ямбе XX в. эпос и драма дают более сглаженную ритмическую кривую, чем лирика, тогда как в XIX в. было наоборот (может быть, это следствие "лиризации" больших жанров в поэзии XX в.)» [Гаспаров 1967: 67].

Но пока что выводы, которые делает М.Л.Гаспаров в своем исследовании, еще ограничиваются теми рамками, которые были заданы в свое время сторонниками формального метода: «Можно ли вывести эту архаизаторскую тенденцию из влияния каких-либо отдельных поэтов допушкинской традиции на современных поэтов? <…> при современном состоянии исследования разумнее всего видеть в этой тенденции возвращения русского ямбического и хореического стиха от ритма XIX в. к ритму XVIII в. лишь частный случай общей закономерности, открытой еще формалистами и их предшественниками, – именно, взаимоотталкивания двух смежных литературных эпох» [Гаспаров 1967: 67].

Представляется, что акцент на последовательном формальном анализе содержательной стороны литературных произведений и литературной эволюции привел к тому, что М.Л.Гаспаров оказался едва ли не единственным среди российских структуралистов, кто высоко оценил поэтику выразительности А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова[21]. Характерно, что когда уже в середине 1990-х годов авторы порождающей поэтики решили издать на русском языке сборник избранных работ по ней, предисловие к книге написал именно М.Л.Гаспаров, подчеркнувший строго-формалистическую перспективу их оптики [Гаспаров 1996: 7].

---

[21] Притом что к конкретным их разборам он относился подчас скептически – см. об этом подробнее в параграфе об А.К.Жолковском и Ю.К.Щеглове.

V.

Историю литературы как таковую М.Л.Гаспаров не строил: он считал, что задача построения этой дисциплины – дело будущего, а сейчас необходимо подводить под это обширный фундамент – исследовать точными методами весь наличный корпус художественных текстов. При этом система, которая должна получаться в результате такой фронтальной обработки литературы, должна демонстрировать индивидуальные особенности каждого произведения, каждого автора, каждого литературного направления и каждой эпохи. История литературной эволюции при этом закономерно предстанет как результат такой деятельности. Поэтому уже сейчас, по мнению М.Л.Гаспарова, необходимо вырабатывать те аналитические методы, которые полноправно могут называться «точными» (в том смысле, в каком это слово применяется к методам естественных наук).

Это М.Л.Гаспаров и проводил на материале русского стихосложения XVII–XX веков и европейского стихосложения от античности до XX века. Итогом его работы стали многочисленные статьи и четыре монографии: «Современный русский стих. Метрика и ритмика» (М., 1974), «Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика» (М., 1984, переизд. 2002), «Очерк истории европейского стиха» (М., 1989, переизд. 2003), «Русский стих начала XX века в комментариях» (Таллин, 1987, переизд. М., 2001). Можно утверждать, что в этих книгах предлагается история всей русской и европейской поэзии и поэтической культуры указанных периодов, т.е., помимо прочего, – демонстрируется образец построения истории литературы, основанной на строго-научных методах анализа.

§ 4. **Поэтика выразительности А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова.**

I.

В задачу этого параграфа входит пересмотр точек расхождения теории А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова с другими направлениями российского структурализма. При этом не преследуется цель проанализировать все особенности концепции А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова «модель "Тема ↔ Приемы Выразительности ↔ Текст"», иначе известной как порождающая поэтика или поэтика выразительности: сами ее авторы не единожды давали развернутое воссоздание основных ее черт. Достаточно процитировать наиболее обобщенное ее описание (где в том числе представлен основной категориальный аппарат): «Основной принцип модели состоит в том, что выразительность художественного текста абстрагируется, отделяется (с оговорками, о которых см. ниже) от передаваемой им информации. Эту информацию (мысли, чувства, пристрастия…) мы будем называть *темой* (условно – Θ, по первой букве этого слова в греческом языке). Тема мыслится как совершенно лишенная художественности, выразительности. Ответственным за эффект 'заражения' объявляется особый механизм, переводящий 'невыразительную' тему в полноценный художественный *текст* (Т), – набор *приемов выразительности* (ПВ). Прием выразительности – это элементарное правило соответствия, которое сопоставляет некоторому элементу X элемент X_1 (или элементы X_1, X_2, …, X_n), передающий то же тематическое содержание, что и X, но с большей 'силой'.

Описанием художественного текста считается его *вывод* из темы, выполняемый на основе ПВ – стандартных единиц, в которых формулируются соответствия между художественными текстами и их темами. Каждый шаг вывода, т.е. применение одного ПВ, осуществляется путем обращения к *словарю действительности* (СД), общему для автора и читателей текста. Таким образом, вывод, призванный объяснить оригинальную художественную структуру текста, складывается из шагов, каждый из которых тривиален, общедоступен.

Описываться в виде вывода может не только отдельный текст, но и целая группа текстов (например, текстов одного автора), имеющих инвариантную тематико-выразительную структуру. Этот инвариантный вывод будет называться *поэтическим миром* (ПМ) автора» [Жолковский, Щеглов 1976/1996: 290].

О личных конфликтах авторов поэтики выразительности с участниками Тартуско-Московской школы (в первую очередь, с Вяч.Вс.Ивановым и Ю.М.Лотманом), а также о ряде теоретических расхождений Ю.К.Щеглов и особенно А.К.Жолковский писали подробно [Щеглов 1989/1996: 20; Гаспаров 1996: 8; Жолковский 1998: 191–206]; однако имеет смысл вновь вернуться к этой теме – не столько в личностном, сколько в методологическом аспекте.

А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов были, как будет показано ниже, во многом близки и Московскому кружку, и Ю.М.Лотману. Однако они, опираясь на разработки И.А.Мельчука (модель «Смысл ↔ Текст»), пошли по третьему пути, который оказался сложносовместимым с двумя доминирующими направлениями Тартуско-Московской школы. Они довели до предела идею структуралистского метода как обладающего порождающей и прогностической способностью, однако при этом не вписали его в некую универсальную парадигму.

II.

По всей видимости, «большая парадигма» с самого начала не была близка авторам поэтики выразительности, которые рассматривали структурализм только как научную стратегию (хотя и универсальную по своим методам), позволяющую анализировать материал с помощью определенной системы формальных приемов. Однако на начальном этапе А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов оказались близки кружку – видимо, именно за счет специфики их методики: перенесение в модифицированном виде методов анализа, характерных для С.М.Эйзенштейна, В.Я.Проппа и Н.Хомского, на литературные тексты. Эти имена для Московского кружка

тоже были значимы, хотя большее внимание уделялось концепциям таких исследователей, как, например, Р.О.Якобсон и Ф. де Соссюр.

Характерно начало тезисов Ю.К.Щеглова, посвященных построению структурной модели новелл о Шерлоке Холмсе: «Конечная цель данной работы – построение такого описания новелл Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, которое показывало бы с начала до конца процесс воплощения основной темы новелл в синтаксической структуре (типа системы "функций", или мотивов, установленных В.Я.Проппом для русских сказок). Такое описание должно включать: 1) формулировку этой основной темы, 2) набор сюжетных функций, их интерпретацию в смысле темы и правила их сочетания, а также набор элементов "лексического" или описательного (несюжетного) плана и правила их употребления. Кроме того, в идеальном случае должен быть описан также "уровень приемов выразительности", т.е. дана интерпретация синтаксической последовательности мотивов с точки зрения эмоциональной схемы новеллы <…>. Из всех этих задач к данному моменту в какой-то мере выполнена лишь первая (формулировка темы); это и излагается в нижеследующих тезисах» [Щеглов 1962а: 153].

В результате на Симпозиуме по структурному изучению знаковых систем (декабрь 1962 г.) и в сборнике «Структурно-типологические исследования» (М., 1962) А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов участвовали на равных с остальными (в сборнике опубликованы две их статьи, в тезисах докладов на Симпозиуме – три).

Можно, однако, поставить вопрос: действительно ли А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов уже в 1962 году в мировоззренческом плане отличались от участников Московского кружка – или же некоторое время они тоже смотрели на поэтику выразительности как на способ построения модели Системы мира? Наиболее проблематичной в этом отношении оказывается ранняя статья А.К.Жолковского «Об усилении» (1962, представляет из себя публикацию доклада, сделанного на совещании в Горьком): в ней автор находит художественный эффект в искусном решении математической

задачи, шахматной партии, а также в подвиге царя Леонида и трехсот спартанцев под Фермопилами. Тем не менее, утверждать с определенностью, что для Жолковского характерно восприятие Структурализма как «большой парадигмы», все же нельзя. Во-первых, этому мешает недостаточная отрефлексированность основных постулатов, на которых основывается статья: нигде не анализируется, что такое художественный эффект и на каких основаниях он приравнен к эффекту эстетическому, а о категории системности применительно к внеязыковым сферам сказано буквально следующее: «Очевидно, что для искусства системность характерна не в меньшей, если не в большей степени, чем для языка» [Жолковский 1962: 167]. Таким образом, четкое отнесение или неотнесение А.К.Жолковского к той или иной категории оказывается, по меньшей мере, проблематичным. Во-вторых, притом что статья строится на изоморфизме между искусством и неискусством, нигде нет специфического для Московского кружка построения – через этот изоморфизм – единой Системы. Строится лишь порождающая поэтика. А принципы уподобления искусства неискусству А.К.Жолковский определяет просто: «Художественное произведение стоит в таком же отношении к жизни, в каком этюд – к шахматной партии. <…> Произведение искусства строится из кусочков действительности как сложный, многоступенчатый усилитель, действие которого развертывается в сознании читателя» [Жолковский 1962: 168–169]. Если отбросить метафорику и кибернетическую терминологию, станет очевидно, что сходное понимание искусства как специфического отображения действительности – общее место для многих филологических направлений, в том числе наиболее «традиционной» историко-литературной традиции.

По другим работам 1962 года ярче заметно, что концепция А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова расходится с идеями Московского кружка. Авторы поэтики выразительности не заняты поисками системности и изоморфизма между различными явлениями культуры, они не строят гомологичные объяснительные модели объекта. Систему анализируемого

явления они строят каждый раз заново, ad hoc, их модели представляют собой лишь алгоритмы порождения данного уникального текста, и даже поиск инвариантов свидетельствует скорее о поиске индивидуальной системы конкретного автора, чем о глубинной семиотической структуре текста; за текстом всегда стоят автор и читатель, которые эту систему и создают. Ср.: «Вывод (текста из темы. – *Н.П.*) строится как осуществление возможностей реализации исходной темы. Но его цель – описание не всех мыслимых ее воплощений, а лишь уже воплотившего ее реального текста. Поэтому, чтобы вывод хорошо описывал этот текст, каждый шаг подгоняется под его свойства. Однако, чтобы обладать общностью и объясняющей силой, вывод строится так, что каждый его шаг отражает соответствующие свойства всего множества потенциальных реализаций той же темы» [Жолковский, Щеглов 1976/1996: 303–304]. Сама операция такого рода типична для Московского кружка, однако то, что приводится в этой цитате в качестве ее подоплеки, для большинства других структуралистов немыслимо (особенно заявление о подгонке претендующего на всеобщность метода под каждый конкретный текст).

Таким образом, основной вопрос, который авторы поэтики выразительности ставят перед собой, – «О чем этот текст?», хотя, действительно, к ответу на него они приходят, решая общеструктуралистский вопрос «Как устроен данный текст?», а также строя модели, подобные лингвистическим. Направление анализа «Тема → Глубинное Решение → Глубинная Структура → Поверхностная Структура», реализующееся с помощью алгоритма «Тема ↔ Приемы Выразительности ↔ Текст», во многом сходно с построением И.А.Мельчука в книге «Русский язык в модели "Смысл ↔ Текст"»: I. Семантика и лексикография; II. Синтаксис; III. Фразеология; IV. Морфология (словообразование и словоизменение). И.А.Мельчук замечает во введении: «Порядок глав в РЯвМСТ соответствует порядку, в каковом должны представляться компоненты модели Смысл-Текст любого естественного языка. Я начинаю с

семантики и продвигаюсь к поверхностной морфологии» [Мельчук 1995: XXIV].

В 1962 году в Московском кружке это находит определенный отклик, однако уже в 1967 году участники Тартуско-Московской школы считают, что манифест «Структурная поэтика – порождающая поэтика» [Жолковский, Щеглов 1967] – не более чем подобие школьных разборов, полупародия, фактически смешивающая структурализм с официозом[22] [Иванов 1967: 126; см. также Жолковский 2000: 57]. Дело в том, что, по мнению Вяч.Вс.Иванова, поэтика выразительности, во-первых, не учитывает историко-литературный и социальный контекст, в котором создавался анализируемый текст (в этих словах Вяч.Вс.Иванова чувствуется влияние Ю.М.Лотмана), а во-вторых, во многом зависит от произвола исследователя. Обусловлено это следующим. Как отправная точка для анализа берется тема, и А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов предполагают, что изучение системы приемов подводит к обнаружению того, что действительно хотел сказать в этой теме автор. Но тогда необходима апробация: обращение к дневниковым и мемуарным свидетельствам, к другим произведениям автора, к той социальной среде, в которой он жил, – т.е. к тому самому историко-литературному и социальному контексту, который, по мнению Вяч.Вс.Иванова, А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов игнорируют. В результате это может привести к исследовательскому произволу в формулировке темы, а следовательно, и в направлении анализа. Например, в качестве темы можно сформулировать, что автор пытался выразить в своем произведении этапы национально-освободительной борьбы. Мало того, что подобное восприятие текста напоминает Вяч.Вс.Иванову школьные разборы (получается, что автор в произведении хочет сказать только одну мысль, причем ее можно найти единственно-верным способом раз и навсегда). Подобная практика опасна

---

[22] Дата публикации этой статьи (1967 год) находится за пределами временны□х рамок настоящей работы, однако строгое хронологическое ограничение в данном случае релевантно только для Московского кружка и Ю.М.Лотмана: темпы и принципы эволюции взглядов А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова были иными.

еще и тем, что марксистская критика теоретически могла бы заинтересоваться поэтикой выразительности как методикой, дающей возможность «строго научной» интерпретации текстов в угоду существующей государственной идеологии. (Известно, что в реальности этого не случилось, однако насколько это было обусловлено тем, что сами А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов считались среди официозных критиков диссидентами, чьи теории опасны априори, – это отдельный вопрос.)

Позднее А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов позднее писали об этом: «То, что фигурирует в настоящей книге под названием "поэтики выразительности", зародилось в головах соавторов в конце 50-х годов, начавшись с тривиальнейших наблюдений и вопросов, в научном отношении, казалось бы, мало перспективных. Мы смотрели на литературу глазами рядового читателя, для которого она прежде всего источник развлечения и радости, и не спешили подчинить эту наивную точку зрения какому-либо из готовых научных мировоззрений, начинавших приобретать авторитет в рамках тогдашнего советского структурализма. Теоретическое осмысление пришло постепенно и <…> продолжается по сей день» [Жолковский, Щеглов 1996: 9]. Далее подробно рассматриваются сходства и различия поэтики выразительности и «традиционного», «школьного» литературоведения. Также эта проблема рассматривается в статье М.Л.Гаспарова, являющейся предисловием к сборнику избранных работ А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова по поэтике выразительности [Гаспаров 1996]. И М.Л.Гаспаров, и сами А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов демонстрируют, что со школьными разборами и официозом их теория имеет мало общего.

Представляется, однако, что мнение Вяч.Вс.Иванова тоже небезосновательно. Система анализа, разработанная в рамках поэтики выразительности, весьма полезна в качестве начального этапа исследования текста художественной литературы. Но та онтологизация метода, которая при этом произошла у А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова, может быть опасна

в том смысле, что позволит искажать свой объект в угоду потребностям исследователя. Кроме того, методология поэтики выразительности не позволяет переходить на уровень анализа литературного процесса в целом.

III.

По той же причине концепция А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова оказалась не близка Ю.М.Лотману. Хотя он опубликовал три статьи А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова в третьем выпуске «Трудов по знаковым системам» (Тарту, 1967), однако, по-видимому, ему поэтика выразительности оказалась еще даже более чужда, чем Московскому кружку. Не только личные взаимоотношения[23] помешали научному объединению.

Обычно это связывается с тем, что А.К.Жолковский с Ю.К.Щегловым и Ю.М.Лотман опирались на близкие, но не идентичные теоретические традиции. Выше говорилось, что набор авторитетных авторов у создателей поэтики выразительности и у московских структуралистов был, в общем, схож; с появлением Ю.М.Лотмана и трансформацией семиотического метода[24] теоретические предпочтения Тартуско-Московской школы модифицировались. Если для Ю.М.Лотмана и его круга наиболее актуальными были фигуры Ю.Н.Тынянова, Р.О.Якобсона, а также людей, от формализма далеких (М.М.Бахтин, О.М.Фрейденберг, отец П.А.Флоренский), то для А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова во главе угла по-прежнему оставались В.Б.Шкловский, С.М.Эйзенштейн, в пушкинистике также М.О.Гершензон, т.е. фигуры, для Ю.М.Лотмана неприемлемые [см.: Дмитриев 2009: 366–367].

Для Ю.М.Лотмана неприемлемо то, что порождающая поэтика фактически игнорирует заложенные автором в самой структуре текста его многообразные комплексные смыслы, которые заменяются единым конечным смыслом, создаваемым с помощью формальной системы приемов.

---

[23] О них говорится и в переписке Ю.М.Лотмана [Лотман 2006: 475, 481, 524], и в мемуарах А.К.Жолковского [Жолковский 1998: 202–205; см. также Жолковский 2000: 83–85].

[24] Подробнее о влиянии Ю.М.Лотмана на концепцию Московского кружка см. в параграфе о Ю.М.Лотмане.

По этой же причине Ю.М.Лотман критикует также и формалистов, и разработки А.Н.Колмогорова и А.М.Кондратова[25]: «Авторы (Колмогоров и Кондратов. – *Н.П.*) опираются на традиции формального стиховедения, ибо ни на что иное в своих попытках точного изучения поэзии они вообще опереться не могут. Но в работах так называемых "формалистов" 1920-х гг. основные понятия *содержания и специфики поэзии* оказались не формализованными и, следовательно, вообще остались вне поля внимания. Поэтому и в работе А.Н.Колмогорова и А.М.Кондратова, как только исследователи переходят от обильного статистического материала к сущности изучаемых ими явлений, выводы сразу же делаются субъективными и неопределенными. <…> Ясно, что к подобным итогам можно прийти, и не мобилизуя огромного статистического материала, а путей к иным, более плодотворным заключениям данная метода пока еще не открывает. <…> Основной порок так называемого "формального метода" – в том, что он зачастую подводил исследователей к взгляду на литературу как на сумму приемов, механический конгломерат. Подлинное изучение художественного произведения возможно лишь при подходе к произведению как к единой, многоплановой, функционирующей структуре» [Лотман 1964/1994: 25–26].

Для Ю.М.Лотмана анализ структуры текста – лишь начальный этап историко-литературного анализа; основной интерес представляет автор и то, что он в этот текст вкладывает, а конечной целью исследования становится реконструкция идеологического фона эпохи. Это видно уже в первой его монографии «Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени» (Тарту, 1958). Нельзя сказать, что для А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова авторская позиция не важна, однако основную роль (особенно в ранних работах по поэтике выразительности) играет текст и то, что и как из него возможно вычитать читателю. (Поэтому когда оба автора

---

[25] О концепции группы А.Н.Колмогорова, в том числе о том, почему она оказалась более близка Московскому кружку, чем Ю.М.Лотману, см. в параграфе об А.Н.Колмогорове, а также во вступлении ко второй главе настоящей работы.

эмигрируют, они обнаружат, насколько им близка школа рецептивной эстетики – в частности, Вольфганг Изер и Стэнли Фиш.) Лишь постепенно они придут к тому, чтобы «уравнять в правах» автора и читателя: «Приемы выразительности могут оказаться важным фактором в решении давнего, но все еще тянущегося спора о том, в какой мере законно говорить об объективных параметрах литературного произведения, независимых от читательского восприятия. Представление текста как конструкции из ПВ отвечает на этот вопрос и делает его неактуальным, ибо при подобном подходе в произведении обнаруживается целый ряд нетривиальных структур, которые, с одной стороны, являются вполне осязаемыми и формальными, а с другой – устанавливаются на основе именно рецепции текста, того, что последний должен проделывать над читателем» [Щеглов 1989/1996: 34].

Идеологический фон эпохи, однако, остается нерелевантным: поэтика выразительности оперирует только с индивидуальными идеологическими стратегиями автора и читателя, которые вступают в борьбу в пространстве наделения данного конкретного текста смыслом. Точнее, А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов не отбрасывают идеологического фона в принципе – он для них существует, при необходимости его стоит учитывать, но вообще рассмотрение эпохи как таковой находится за пределами поэтики выразительности.

Однако и это – уже достаточно поздний этап развития поэтики выразительности, постепенно эволюционировавшей к тому, чтобы вобрать в себя литературоведческую исследовательскую оптику и литературоведческий категориальный аппарат. На более раннем этапе А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов строят свою теорию как прямое отображение идей порождающей лингвистики на сферу искусства: «Описание структуры Т в виде вывода Θ – ПВ $\rightarrow$ Т в самом общем плане опирается на аналогию с лингвистическими моделями (порождающими и синтезирующими), также основанными на закономерном переходе от глубинных структур к поверхностным. Как уже говорилось, принцип вывода

не исходит из каких-либо гипотез о психологии или истории творческого процесса. Хотя при изложении удобно пользоваться выражениями типа "сначала получаем то-то", "на следующем шаге это дает то-то", вывод не предполагает ни предшествования темы тексту в творческом акте, ни существования темы в сознании или подсознании художника отдельно от текста. Тема есть конструкт, а вывод – способ изображения сложных соответствий между этим конструктом и текстом. Соотношение между шагами вывода (от общих контуров к "полуфабрикатам" все более детального уровня) имеет не временной, а логико-иерархический характер. <…> зигзаги творческой истории не должны фиксироваться в выводе, отражающем синхронную структуру готового текста. Движение вывода, описывающего выразительную логику текста (competence), всегда направлено от искусственной величины – теоретического конструкта (Θ) – к реальной (Т), тогда как ход творческой мысли (performance) направлен от психологически реальной величины (будь то конкретная деталь или общий план) к реальной же (тексту)» [Жолковский, Щеглов 1976/1996: 301–303].

Если воспользоваться этой терминологией, Ю.М.Лотману, в отличие от А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова, присуща установка не на competence, а именно на performance. Попытка сквозь структуру художественного текста понять ход творческой мысли в дальнейшем приведет его к попыткам проникновения внутрь этого хода – в качестве хрестоматийных примеров можно вспомнить статьи «Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе» (1982) или «Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи» (1986)[26]. В то же время А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов изначально от рассмотрения творческой истории абстрагируются в пользу строго-формального анализа.

В результате в начальный период разработки своей теории авторы поэтики выразительности считают, что текст может в принципе создавать и машина, а главное – действующая порождающая модель этого текста: «Дело

[26] См. об этом подробнее в параграфе о Ю.М.Лотмане.

в том, что различие между структурным и традиционным подходом проходит отнюдь не по линии "формализованность – интуитивность процесса исследования". Ошибочно мнение, что если ученый действует путем эмпирического подбора и нащупывания, то ему следует отказаться от претензий на объективность и точность описания. Очевидно, что строгие процедуры выделения единиц анализа и формальные методы описания литературных произведений могут быть – и в конечном итоге будут – выработаны, однако это совершенно отдельная задача. Существенное отличие состоит прежде всего в том, *что́* мыслится в качестве *результата* работы. Целью структурного описания признается *действующая модель* вещи. Если построенная ученым модель *работает*, то есть машина или человек по предложенным правилам создают произведения, подобные моделируемому, то модель удовлетворительна (от оценок степени ее верности можно сейчас отвлечься) и, грубо говоря, никому нет дела до того, как действовал ее автор: путем формальной процедуры, интуитивно или, скажем, с помощью духов и кобольдов» [Жолковский, Щеглов 1967: 77, сноска 2]. И далее: «Говоря очень кратко, представляется полезным понимать художественное произведение как "наглядный предмет", предназначенный для максимально эффективного проведения темы, своего рода аппарат для ее внушения читателю; его можно сравнить с *изобретением*, реализующим какую-либо конкретную техническую задачу. Тогда цель литературоведческих исследований должна состоять, в частности, в том, чтобы описывать устройство и работу таких художественных "машин", показывать, как они "собираются", исходя из тематического задания. <…> Все вышеизложенное, а также опыт современной лингвистики (где наибольшей объясняющей силой обладают те описания, которые строятся как правила порождения соответствующих объектов – предложений, словоформ, фонем и т.п.) приводят к мысли, что *структурным описанием художественного произведения является демонстрация его порождения из*

известных темы и материала по некоторым постоянным правилам» [Жолковский, Щеглов 1967: 82].

Это вновь отсылает к структурно-лингвистической основе поэтики выразительности (точнее, к модели «Смысл ↔ Текст» И.А.Мельчука), где проблема авторства нерелевантна в принципе, а основной задачей является построение модели многоуровневого перехода от смысла к тексту и обратно. Выше уже бегло упоминалось, что автор в теории А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова все же присутствует, однако не как творец произведения, а как человек, порождающий стратегию оказания влияния на того, кто воспринимает его текст. Отсюда интерес к теории С.М.Эйзенштейна: «Согласно Эйзенштейну, функцией искусства является энергичное эмоциональное внушение зрителю/читателю темы произведения, создание живого образа этой темы, окрашенного авторским отношением к ней» [Жолковский, Щеглов 1996: 12]. Эта концепция находит отражение в поэтике выразительности уже в наиболее ранних разработках: «В настоящем докладе предлагается понимание художественного (в частности, литературного) произведения как устройства, или системы (это слово употребляется здесь в том же смысле, что и в структурной лингвистике), работа которой направлена к единой цели: привести воспринимающего (читателя) в желаемое душевное состояние, вызвать у него нужные автору реакции <…>» [Жолковский, Щеглов 1962: 138]. В дальнейшем это приведет, в частности, к исследованиям стратегий символической власти А.А.Ахматовой, В.В.Маяковского и др. в работах А.К.Жолковского.

IV.

У А.К.Жолковского есть собственное объяснение тому, почему произошел откол И.А.Мельчука от Московского кружка, а вслед за ним А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова – от Тартуско-Московской школы. Прежде чем привести обширную цитату из его статьи «Ж/Z–97», нужно сделать два замечания. Во-первых, речь будет идти о Тартуско-Московском периоде, расширяющемся (к концу цитаты) до 1980–1990-х годов и до перехода ряда

структуралистов (в том числе и самого А.К.Жолковского) на позиции постструктурализма – т.е. о периоде, выходящем за хронологические рамки настоящей работы. Во-вторых, в настоящей работе анализ научных концепций по преимуществу ведется (если воспользоваться семиотической терминологией) на синтактическом и семантическом уровнях (структурные особенности той или иной теории и ее методологические связи с другими теориями внутри общего направления нелингвистического структурализма), а анализ А.К.Жолковского – на прагматическом уровне (особенности бытования теории И.А.Мельчука в среде структуралистов). Отказ от рассмотрения уровня прагматики в настоящей работе был выбран сознательно – для большей наглядности уровней синтактики и семантики, которые в позднейших воспоминаниях о Тартуско-Московской школе, как правило, затушевываются[27]. Тем не менее привести эту цитату здесь необходимо: она придает стереоскопическое видение явления и может в дальнейшем помочь при изучении дальнейшего развития Тартуско-Московской школы:

«За бросавшимся в глаза различием культурных установок скрывались вполне реальные научные разногласия, в каком-то смысле не разрешенные до сих пор. Мельчук настаивал на компьютерной осуществимости и, значит, проверяемости лингвистических исследований и отказе от любых менее определенных занятий и видов знания. Его "гуманитарные" оппоненты, продолжая претендовать на "точность", на практике все же допускали и осуществляли научную деятельность в "разговорном жанре" – в виде дискурса, обращенного к коллегам и более широкой публике. Для Мельчука идеальным плодом научной работы были компьютерная программа,

---

[27] Неважно, насколько сознательно или бессознательно; видимо, это естественное свойство памяти – восстанавливать в первую очередь факты, а уже потом те тенденции, которые обуславливали появление этих фактов. Однако отбор фактов памятью может исказить картину реконструкции тенденций, в результате чего понимание одного и того же явления в разных мемуарах может представать чуть ли не противоположным образом – как это получилось в полемике между Б.М.Гаспаровым и Ю.М.Лотманом, о которой говорилось в начале параграфа о «долотмановском» периоде.

алгоритм, механизмы построения словоформ и предложений, правила перевода с одного языка на другой и т.п., задача же научных публикаций сводилась к описанию этих "работающих систем". Для "гуманитариев" выступления на конференциях, статьи и книги оставались главным, если не единственным, научным продуктом.

Стоит подчеркнуть существенное семиотическое различие между этими двумя подходами к науке. Для Мельчука, как в его исследованиях, так и в его профессиональном функционировании, синтактика и семантика были важнее прагматики. В лингвистике его интересовали почти исключительно строение означающих и их связи друг с другом и с означаемыми; гораздо менее охотно готов он был рассматривать <…> прагматические явления <…>. Аналогичным образом, в научной жизни – в обращении с коллегами и культурными институтами – он исходил из убеждения, что единственно важным является добывание "истины", обладание которой "все спишет", а всякие там любезности вокруг донесения ее до окружающих – дело десятое. Очевидно стратегическое преимущество позиции его оппонентов, для которых не менее ценна была и научная прагматика (во всем богатстве ее каламбурных обертонов).

Кстати, в истории как описательной лингвистики, так и научной поэтики можно проследить характерную тенденцию постепенного движения от автономности, атомарности и формализма – к целостности, сложности и социальности. Говоря очень условно (и отчасти "подправляя" хронологию), структурный подход в лингвистике начинается с фонологии, где основным понятийным инструментом является идея бинарной оппозиции, первой проникающая и в поэтику. Следующий шаг – интерес к линейным, а затем и более сложным синтаксическим и сюжетным структурам. Далее – акцент на трансформациях, семантических эквивалентностях, тематических инвариантах, парадигматике, архетипах. И, наконец, переход к прагматике речи, выход за пределы предложения, лингвистическое изучение диалога, а в поэтике – открытие интертекстуальности, внимание к диалогизму и

многоголосию, изучение читательской реакции, рецепции и вообще полное размыкание текста, доныне почитавшегося имманентным. (Любопытно, что открытая ориентация на прагматику дискурса отличает и собственно художественные, в частности – литературные, аналоги постструктурализма – концептуализм и постмодерн, где главным "содержанием" становится демонстративная игра со стратегиями воздействия и восприятия.)

Возвращаясь к мельчуковскому максимализму, следует сказать, что его утопичность приобретала особенно безнадежный привкус при проецировании (мной и *Щ.*) в область поэтики, где возможности компьютерного моделирования были и остаются гораздо дальше от созревания, нежели в лингвистике, и, значит, главным жанром долго еще суждено оставаться "разговорному". Поэтому в исторической перспективе поспешность в отмене права на "разговоры" не случайно оказывается сродни тоталитарному подавлению свободы дискурса. Этим отчасти может объясняться сознательное или бессознательное игнорирование мельчуковской линии тартуско-московскими семиотиками <…>» [Жолковский 1998: 192–193, сноска 29].

V.

Нужно также сказать о соотношении концепции А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова с взглядами М.Л.Гаспарова. Многое между ними, действительно, схоже: исследование формальных аспектов художественного произведения с помощью четкого категориального аппарата, возможность использования статистических методов анализа (в порождающей поэтике – по крайней мере потенциально), выведение смысла текста из поуровневого анализа его структуры. Однако для авторов поэтики выразительности их метод (по крайней мере, применительно к сфере искусства) универсален – в этом они близки и Московскому кружку, и Ю.М.Лотману, особенно позднему. По модели «Тема ↔ Приемы Выразительности ↔ Текст» может выстраиваться анализ и басни И.А.Крылова «Тришкин кафтан», и индийской изобразительной миниатюры [Жолковский, Щеглов 1976/1996: 298–302]. Для

М.Л.Гаспарова же структурный метод удобен постольку, поскольку с его помощью можно эффективнее систематизировать и анализировать материал, чем с помощью других возможных в данном случае методов; апологии самоценности метода у М.Л.Гаспарова нет[28]. Значительно позже он сформулирует это эксплицитно: «***Наука*** – это средство <…> упорядочивания: она тем лучше, чем шире она охватывает явления и чем проще их систематизирует. То есть, наук без структурных методов не бывает, потому что всякая систематизация – это структура: так уж устроено наше сознание. Поэтому структурализм в широком смысле слова умереть не может, а в узком – как культ бинарных оппозиций? – для кого как; мне он помогает работать, значит, пока не умер» [Гаспаров 2004: 32]. Но можно с уверенностью утверждать, что подобные представления для него были характерны и в 1960-е годы.

В отличие от Ю.М.Лотмана и Вяч.Вс.Иванова, М.Л.Гаспаров никогда не ссорился с А.К.Жолковским и Ю.К.Щегловым, наоборот – когда они эмигрировали, он поддерживал с ними переписку, а когда уже в 1996 году они издавали свой сборник избранных работ по поэтике выразительности, написал предисловие к нему, где поддержал основные принципы их теории [Гаспаров 1996]. Тем не менее к конкретным разборам он относился более скептически: «Здесь я впервые попробовал от пассивного усвоения нового для меня языка перейти к активному. А.К.Жолковский делал разбор стихов "Я пью за военные астры…"; разбор этот в тогдашнем виде мне показался артистичным, но легкомысленным. Истолкование какой-то последовательности образов получилось для слушателей неубедительным; я, шутя, предложил другое, стараясь держаться манеры Жолковского. Он отнесся к этой пародии всерьез и попросил разрешения сослаться на меня» [Гаспаров 1994: 301–302].

---

[28] Подробнее об этом см. в параграфе о М.Л.Гаспарове и во вступлении ко второй главе настоящей работы.

Описанная ситуация произошла на домашнем семинаре А.К.Жолковского (позднее, после его отъезда в эмиграцию, семинар переехал на квартиру Е.М.Мелетинского). М.Л.Гаспаров позднее оценивал его как филиал Тартуско-Московской школы, точнее, ее собственно литературоведческого крыла: «Тарту, благодаря Ю.М.Лотману, был центром литературоведческих интересов московско-тартуской школы; Москва, благодаря Вяч.Вс.Иванову и В.Н.Топорову, – центром интересов лингвистических (хотя, разумеется, реальный круг интересов и там и здесь был гораздо более широк). Та часть московских филологов со структуралистскими вкусами, которым литературоведение было ближе, чем лингвистика, и образовала состав семинара Жолковского – Мелетинского» [Гаспаров 2006: 114]. М.Л.Гаспарову этот семинар был близок потому, что исследования в нем проводились индуктивно, от материала, а не от общей теории, – за исключением как раз докладов А.К.Жолковского: «Структуралистов и семиотиков упрекали в том, что для них конкретные анализы – лишь подсобный материал для проверки универсального метода. Здесь этого не было, скорее наоборот: конкретные анализы нащупывали пути к общим закономерностям. Философского обоснования методов не было, слово "герменевтика" не произносилось. <…> Пожалуй, единственный ряд докладов, похожих на "проверку универсального метода", – это доклады самого А.К.Жолковского по генеративной поэтике, которую они в это время разрабатывали с Ю.К.Щегловым» [Гаспаров 2006: 118–119].

Представляется, что ироническая реакция М.Л.Гаспарова на разбор А.К.Жолковского была связана не столько с неудовлетворительностью конкретного анализа (судя по всему, на выступления других участников семинара М.Л.Гаспаров так не откликался, каковы бы они ни были), сколько с тем, что это была демонстрация универсального метода, а пародия этот метод дискредитировала. М.Л.Гаспарову поэтика выразительности была близка своим пафосом строгой научности и верифицируемости, однако

восприятие ее А.К.Жолковским и Ю.К.Щегловым в тот период как универсальной теории М.Л.Гаспарова настораживало.

VI.

Задокументированных свидетельств об отношении А.Н.Колмогорова к поэтике выразительности не найдено, поэтому что-либо определенное в данном случае высказывать трудно. Однако когда он рассуждает о процессе порождения стихотворения, его взгляды во многом созвучны концепции А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова:

«Мы обычно постулируем, что в <…> подлинной поэзии общий "замысел" дан твердо и должен быть донесен до слушателя (читателя) во что бы то ни стало, каких бы это ни стоило трудов <…>. Но этот замысел вовсе не определяет *однозначно* выбор образцов и даже детали развития сюжета, которые являются таким же *средством*, а не самоцелью, как и звуковая выразительность стиха. Поэтому нет ничего зазорного в мысли, что у самых крупных поэтов из общего замысла развиваются и внезвуковое содержание (образность, грамматика) и звуковая выразительность в непрерывном *взаимодействии*.

Это взаимодействие происходит на всех ступенях конкретизации замысла. Общий замысел художественного произведения больших масштабов относится к какой-то существенной стороне мироощущения автора, которая не выражается словесной формулой. Это общая "идея", не определимая формально (как начальные понятия любой науки), ясная для автора, но с трудом поддающаяся передаче другим. При ее конкретизации, скажем, в "роман в стихах" в самом начале возникают обобщенные образы желательных героев, среды и обстановки, в которых должно развиваться действие, и *тут же* первый смутный образ желательного общего звучания стиха. Выбирается метр (четырехстопный ямб), строение строфы, и предчувствуются некоторые звуковые особенности <…>, интерпретация и частота употребления возможных в пределах метра вариантов ритма, нормальное ритмическое строение строфы.

На более низком уровне, когда уже наметились главы, эпизоды, возникает обобщенное представление об общих особенностях звучания каждого из них <…>» [Колмогоров 1994: 183–184].

Вполне вероятно, что взгляды А.Н.Колмогорова могли повлиять на формирование концепции А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова, но утверждать этого с определенностью все же нельзя из-за нехватки подтверждающего материала. Возможно, что А.Н.Колмогоров просто шел по тому же пути, по которому независимо от него шли авторы поэтики выразительности: ему было интересно (хотя и по другим причинам, связанным с разработкой кибернетики), как можно строить индивидуальное литературное произведение, на какие этапы и уровни этот процесс распадается.

§ 5. **Ранний Ю.М.Лотман и зарождение российского варианта семиотики.**

В этом параграфе не преследуется цель проанализировать достаточно сложное развитие взглядов Ю.М.Лотмана от 1960-х до 1990-х годов, не ставится даже задача пересмотра его основных работ структуралистского цикла («Лекции по структуральной поэтике» (1964), «Структура художественного текста» (1970), «Анализ поэтического текста» (1972)). Внимание будет сосредоточено лишь на «точке поворота» от Структурализма к семиотике, т.е. на нескольких первых структуралистских работах Ю.М.Лотмана (1962–1964 годы). После опубликования «Лекций…» и проведения первой Летней школы по вторичным моделирующим системам начинается следующий этап эволюции его взглядов, доходящий до середины 1970-х годов (очередной поворотной вехой считаются «Тезисы к семиотическому изучению культур (в применении к славянским текстам)» 1973 года, написанные им в соавторстве с Вяч.Вс.Ивановым, А.М.Пятигорским, В.Н.Топоровым и Б.А.Успенским). Этот этап требует отдельного рассмотрения; кроме того, он является наиболее изученным в исследованиях о Ю.М.Лотмане – для примера можно сослаться на классическую работу Энн Шукман [Shukman 1977b]. Условно началом его можно считать первую Летнюю школу по вторичным моделирующим системам (19–29 августа 1964 года), свидетельствующую о зарождении Тартуско-Московской семиотической школы как таковой; «Лекции…» в таком случае знаменуют окончание предыдущего периода, который и представляет преимущественный интерес в данной работе.

Об истоках мировоззрения Ю.М.Лотмана говорилось немало – достаточно сослаться в качестве примера на работы М.Л.Гаспарова и Б.Ф.Егорова [Гаспаров 1997; Егоров 1999; Гаспаров 2003], где анализируется отношение Ю.М.Лотмана к марксизму и гегельянству, или статьи Б.А.Успенского, И.А.Чернова, Ю.А.Шрейдера [Успенский Б. 1981/1994; Чернов 1982; Шрейдер 1993], где сопоставляется лингвистическая основа структуралистского метода Московского кружка и историко-

литературоведческая – Ю.М.Лотмана, а также на фундаментальную монографию Вяч.Вс.Иванова [Иванов 1999].

I.

Прежде чем начать разговор о «точке поворота», необходимо оговорить следующее: здесь будет сделан акцент именно на отличиях семиотики раннего Ю.М.Лотмана от Структурализма Московского кружка. Хотя, как будет показано ниже, взгляды Ю.М.Лотмана имеют больше отличий, чем сходств с взглядами тех участников Тартуско-Московской школы, которые преимущественно именуются в данной работе структуралистами, однако термин «структуралистский» можно применять и к работам Ю.М.Лотмана 1960-х – первой половины 1970-х годов – по двум причинам. Во-первых, в силу устоявшейся традиции. Во-вторых, потому что, не будучи сторонником мировоззрения Структурализма, Ю.М.Лотман активно использовал многие элементы структуралистского метода анализа – сам термин «структура» был для него первостепенно значим (только воспринимал он это понятие иначе, чем Московский кружок). В этом смысле корректно говорить уже о первых его структуральных исследованиях как о структурно-семиотических – в то время как семиотика Московского кружка до середины 1960-х годов была, по сути, структуралистско-кибернетической семиологией, исследующей не индивидуальные знаковые системы, а изоморфные уровни знаковой Системы.

То, что Ю.М.Лотман охотно принял структуралистский метод (хотя и понимая его при этом лишь как наиболее удобный метод, а также модифицировав его для лучшего соответствия семиотике), подразумевается как очевидный факт и далее отдельно не оговаривается. В качестве примера схожего понимания той проблемы, о которой пойдет речь в данном параграфе, можно сослаться на Умберто Эко:

«<…> не все семиологи использовали метод структурного анализа. Так, Чарльз Сэндерс Пирс и Чарльз Моррис предложили семиотическую теорию, которую никак нельзя назвать структуралистской. Это

обстоятельство нужно подчеркнуть особо, поскольку, как мне кажется, Лотман, который начал со структуралистского подхода к феноменам сигнификации и коммуникации и который до сих пор не отказывается от структуралистского метода, этим методом все же не ограничивается. <…> теоретической проблемой, создававшей наибольшие трудности для структуралистов-шестидесятников, был факт изменения некоторых знаковых систем в ходе коммуникативных процессов (то есть процессов исторических, протекающих во времени). Другая проблема: если семиотическая система рассматривается как код или, скорее, как система правил, то откуда могут взяться коммуникативные процессы, код которых трудноопределим, или такие процессы, в которых разные коды конфликтуют между собой? В решении этих проблем лежит ключ к пониманию эволюции лотмановских идей. <…> Лотман <…> понимал, что рассматривать текст как сообщение, построенное на основе языкового кода, – это вовсе не то же самое, что рассматривать сам текст (или культуру как набор текстов) в качестве кода. Исследователь всегда осознавал, что исторических периодов, которые обладали бы одним-единственным культурным кодом, просто не бывает (хотя конструирование модели-кода может оказаться полезной абстракцией) и что в любой культуре существует множество разных кодов. Мне кажется, что, решая эту проблему, Лотман выходит за рамки структуралистской догматики, предлагая более сложный и вместе с тем более ясный подход. Столкнувшись с негибкостью структуралистской оппозиции кода и сообщения, Лотман разграничивал изучение грамматики и изучение текста (это разграничение может быть проведено даже внутри одной культуры)» [Эко 1990/1996: 408–411].

Следует сразу оговориться, что, во-первых, У.Эко рассуждает по преимуществу о более позднем (Тартуско-Московском) периоде Ю.М.Лотмана, чем рассматривается в настоящей работе; во-вторых, его интересуют в основном проблемы трактовки понятий «текст», «язык», «код» и «высказывание» внутри структурно-семиотического метода, в то время как

в данной работе акцент будет сделан на иных категориях, в том числе не только чисто методологических; в-третьих, даже в тех пунктах, где задачи У.Эко совпадают с задачами настоящего исследования, выводы не всегда идентичны. Тем не менее учитывать мнение У.Эко необходимо.

II.

Для большей связности текста и для более яркой демонстрации того комплекса взглядов, от которого отталкивался Ю.М.Лотман при разработке собственной теории[29], здесь придется прибегнуть к тавтологии: дать краткое резюме предшествующего параграфа, заострив внимание на тех аспектах, которые окажутся знаковыми при повороте от Структурализма как «большой парадигмы» к семиотике как научной дисциплине.

Итак, Структурализм «долотмановского» периода – это комплекс идей, базирующихся на представлении, что весь мир упорядочен с помощью некой единой системы универсальных категорий, принципиально познаваемой благодаря единому комплексу столь же всеохватных познавательных методик. Основа их – построение моделей, передающих основные свойства исследуемых объектов. Подобный взгляд на термин «модель» не специфичен для российского структурализма, однако специфично восприятие моделируемого объекта. Это – знаковая система, функционирующая панхронно, причем ее условно-диахронические изменения являются, по сути, переключениями из одних панхронных состояний в другие; в итоге анализ ее возможен только в синхроническом плане. Поскольку отличие реальных явлений действительности от тех объектов, которые порождаются при восприятии этих явлений познающим сознанием, не было отрефлексировано,

---

[29] В данном случае несущественно, насколько осознанным был этот процесс: для анализа методологий и мировоззрений имеет смысл по возможности абстрагироваться от конкретных биографических и психологических особенностей тех, кто разрабатывал эти методологии и исповедовал эти мировоззрения. Иначе общая картина может оказаться серьезно искаженной – как это получилось, например, с поэтикой выразительности А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова, неприятие которой остальными участниками Тартуско-Московской школы, как правило, объясняется личностными антипатиями. При этом за ними зачастую забываются серьезные методологические расхождения. См. об этом в параграфе, посвященном А.К.Жолковскому и Ю.К.Щеглову.

то картина мира исследователя (структурирующего наблюдаемый мир) и реальная картина мира считались схожими в существенных своих аспектах, подобными друг другу – изоморфными. Картина мира исследователя является моделью мира реального, и при анализе ее структуры исследователь познает структуру всего мироздания.

Несмотря на то, что подобная программа не излагалась публично и не провозглашалась в манифестах – структуралисты всегда заявляли, что анализируют только знаковые системы культуры, – однако фактически объектом их внимания становились и такие сферы, как, например, эстетическое восприятие мира или любой (даже несемиотический) акт поведения, который воспринимающим наделяется информативностью. Вследствие неразграничения действительности и восприятия охват явлений бытия становился всеобъемлющим: ведь значение можно придать любому явлению мира. В итоге культура оказывалась основана на знаковых отношениях, а базисом мироздания становилась информация; мир стабилен и понятен.

Эта ситуация во многом изменилась благодаря Ю.М.Лотману, который с самого начала ввел два принципа, в корне подорвавших систему Структурализма. В первой же структуралистской статье («Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального подхода» [Лотман 1962/2000]) он, во-первых, ввел в структурный подход унаследованную из марксистско-гегелевской традиции диалектику и диахронию, а во-вторых, переосмыслил на этой основе понятие «модель». Все это привело к быстрому отходу от Структурализма в сторону семиотики, а позднее – семиосферы.

III.

Некоторые принципы Ю.М.Лотмана, высказанные в статье «Проблема сходства искусства и жизни…», схожи со структуралистской теорией «долотмановского» периода: «Изображение в искусстве – это отнюдь не только то, что непосредственно изображено. Художественный эффект – всегда отношение. Прежде всего, это соотношение искусства и

действительности – сложный вопрос, который не исчерпывается бесспорной, но слишком общей формулой "искусство – зеркало жизни"» [Лотман 1962/2000: 382–383]. Однако здесь начинается расхождение. Диалектическое соотношение искусства и действительности для Ю.М.Лотмана принципиально: «Различие диалектически связано со сходством и невозможно без него. Чем больше сходства имеют между собою члены неравенства, тем, безусловно, обнаженнее их различие» [Лотман 1962/2000: 380] (этот тезис будет потом лежать в основе «Лекций по структуральной поэтике»). Отсюда – иное восприятие термина «модель».

Как уже говорилось в параграфе о Московском кружке, для его участников модель и объект (система объекта, система объектов) оказывались как бы в неком абсолютном пространстве, синхроническом (по сути, вневременном) универсуме; модель стабильно отображала существенные свойства своего объекта и отношения между его элементами, которые оставались неизменными. Если же объект изменялся, то это означало условно-одновременное изменение всей системы в целом, что влекло за собой создание новой модели – наподобие того, как создаются модели для реконструкции систем древних языков. Сами же древние языки изучаются при этом не в динамической изменчивости (что, собственно, и невозможно на таком материале), а в наборе стабильных состояний, расположенных относительно друг друга на шкале «большого времени». Поскольку на основании одних систем реконструируются другие системы, первые могут считаться моделями вторых, но и те, и другие демонстрируют принципиальную стабильность структуры (что и обеспечивает, по сути, возможность реконструкций).

Характерный пример – доклад Вяч.Вс.Иванова и В.Н.Топорова на IV Международном съезде славистов (1958 год), в котором анализировались древнейшие состояния славянских и балтийских языков и который заключался следующими выводами: «Как видно из изложенного выше, отдельные частные модели, установленные для балтийского и славянского,

являются тождественными, а так как они, согласно нашему допущению, могут рассматриваться как звенья единых балтийской и славянской моделей, то и эти последние оказываются тождественными и могут быть полностью наложены друг на друга. Положительный ответ на сформулированный нами в начале доклада вопрос об отношении моделей древнейших состояний балтийских и славянских языков следует, во-первых, из возможности полного наложения друг на друга этих моделей, во-вторых, из того, что эти тождественные друг другу модели существенно отличны от общеиндоевропейской. <…> нам представляется необходимым <…> считать **модель, установленную для славянского, результатом преобразования модели, установленной для древнейшего балтийского состояния** (обратное соотношение исключается ввиду ряда фактов, указанных выше при установлении фонологической и морфологической модели). К такому выводу нас побуждают следующие соображения. Выше, при анализе истории фонологической и морфологической системы, мы неоднократно указывали на то, что непосредственное сравнение современных балтийских диалектов позволяет достичь таких результатов, которые для праславянского возможны лишь при очень глубокой внутренней реконструкции. При этом в тех случаях, когда мы можем совместить целые периоды в развитии балтийских диалектов и праславянского, исходная точка развития последнего оказывается несколько более поздней, чем реконструированное общебалтийское состояние. Кроме того, выводы временно́го характера могут найти подтверждение и в соображениях пространственного плана: исключительная диалектная дробность балтийской языковой области при слабой дифференцированности славянской области, с одной стороны, и значительная ограниченность балтийской области, по сравнению со славянской, с другой, позволяют видеть в данном случае проявление вполне определенной закономерности, наблюдаемой во многих других странах. Речь идет о такой зависимости между пространственными фактами (диалектной дробностью и площадью, занимаемой языком) и временны□ми, при которой

языки с наименьшей дробностью и наибольшей площадью распространения оказываются языками наиболее позднего происхождения, распространившимися по этой территории в позднейший период <…>» [Иванов, Топоров 1958: 37–40].

Для Ю.М.Лотмана такой подход неприемлем в принципе. Хотя термины «модель» и «моделирование» одинаково применялись и структуралистами «долотмановского» периода, и Ю.М.Лотманом, однако, по-видимому, точнее было бы говорить о доминировании статичной «модели» в представлении Структурализма и динамического «моделирования» у Ю.М.Лотмана. Про статическую модель в первой структуралистской статье он говорит недвусмысленно: «Теперь нам делается понятно и принципиальное отличие искусства от анатомического макета. Макет – модель. Он заменитель анатомируемых человеческих органов. Все необходимое знание извлекается из рассмотрения его самого. Рассмотрению же в макете подлежит лишь то, что материально существует. <…> Поэтому макет, будучи предметом, вещью, равнодушен к идеологическим связям создающего и воспринимающего, а произведение искусства, оставаясь вещью, включено и в многочисленные идейные отношения. Качества вещи в макете абсолютны, постигаются из него самого, качества вещи в искусстве относительны, приобретают свое значение от многочисленных идеологических контекстов» [Лотман 1962/2000: 383].

Существенно введение понятия (идеологического) контекста, который в итоге и определяет специфику объекта. И эта специфичность любого явления действительности, в частности искусства, определяется не имманентно заложенной в нем поуровневой иерархией отношений, представляющих собой закрытую структуру, а открытой системой отношений, в которых оно находится по отношению к остальному миру, внеположному ему. Благодаря введению в рассмотрение понятия контекста, исследуемый объект из абстрактного «большого времени», где он был изоморфной моделью универсума, возвращается в конкретно-историческое

время (что, кстати, переносит исследователя из сферы Структурализма в область традиционного исторического – в частности, историко-литературного – анализа). В определенном смысле исследуемый текст оказывается важен именно потому, что он встроен в динамически-изменчивый контекст.

В вышедшей два года спустя монографии «Лекции по структуральной поэтике» Ю.М.Лотман выскажется на эту тему еще определеннее и резче: «<…> здесь мы сразу сталкиваемся с относительностью понятия "текст". Перед нами – один и тот же, графически совершенно одинаковый, материал для определения (например, "Сентиментальное путешествие" Стерна). Однако в зависимости от того: признаем ли мы неоконченность произведения механической порчей (а его определим как дефектный *фрагмент текста*) или воплощением художественного замысла (то есть *текстом*), одна и та же документальная данность будет выступать как разные текстологические величины. Таким образом для того, чтобы стать "текстом", **графически закрепленный документ должен быть определен в его отношении к замыслу автора,** эстетическим понятиям эпохи и другим, графически в тексте не отраженным величинам. <…> **текст вообще не существует сам по себе, он неизбежно включается в какой-либо (исторически реальный или условный) контекст. Текст существует как контрагент внетекстовых культурных элементов, связан с ними как два члена оппозиции**» [Лотман 1964/1994: 203–204]. О том, насколько эти мысли важны для Ю.М.Лотмана, можно судить по тому, как активно он пользуется средствами графического выделения своих мыслей.

О двух пониманиях понятия «модель» в советской культурной ситуации указала еще Энн Шукман (в том числе с указанием на характерную эволюцию от «модели» к «моделированию» в теории структурализма – см. об этом ниже): «В Советском Союзе с рубежа 1950–1960-х годов были широко распространены два понимания термина "модель": логическая модель, используемая в логике, кибернетике и лингвистике; и модель как термин,

заимствованный из эпистемологии. <…> Логическая модель в лингвистке описана в "СТИ" («Структурно-типологических исследованиях». – *Н.П.*) <…>. Логические модели состоят из аксиом и строгих процедурных правил. В этом они отличаются от гораздо более обобщенного понятия модели как средства познания, которое стало использоваться в советской философии примерно в это же время. В советской эпистемологии "модель" – условный образ, представление, схема или описание любого объекта или системы объектов <…>, или, по словам В.А.Штоффа, цитируемым Лотманом <…>, "средство отражения или воспроизведения реальности", по-другому "аналогия". Во втором, эпистемологическом смысле "модель" легко подходит, как показал Лотман, к теории отражения в искусстве. <…> В дальнейшем в Московско-Тартуском семиотическом кружке скорее "моделирующая система", чем "модель", стала обозначать культурные феномены, включая искусство, и проблема отношения произведения искусства к своему объекту, на которой сосредоточивался Лотман в "Лекциях", больше не ставилась как центральная» {Shukman 1977b: 47–49].

Но на этом внедрение Ю.М.Лотманом диалектического подхода не заканчивается: динамическое моделирование оказывается не односторонним, как в Структурализме, а обоюдонаправленным – например, реальность моделирует художественное произведение, которое, в свою очередь, моделирует реальность: «Сходство искусства и жизни выясняется отнюдь не в сопоставлении двух однолинейных величин. Сложная многофакторность действительности сравнивается с произведением, опосредованным многочисленными связями. Само это сравнение не есть однократный акт. Что́ создано художником, становится ясно зрителю не из имманентного рассмотрения произведения искусства, а из сопоставления его с объектом воссоздания – жизнью. Но ведь сам объект воссоздания – жизнь – раскрывается для нас по-разному до того, как было создано воспроизводящее ее произведение, и после. Поэтому, понятое из сопоставления с действительностью, произведение требует нового сопоставления с по-новому

понятой действительностью. Логически процесс познания сходства искусства и жизни может быть уподоблен не прямой, а спирали, число витков которой зависит от глубины художественного создания и сложности воспроизводимой жизни. Реально же он представляет подвижную корреляцию, соотнесенность» [Лотман 1962/2000: 383].

В раннем структуралистском творчестве Ю.М.Лотмана об этом говорится более осторожно – что искусство изменяет реальность, – однако тема именно моделирования искусством действительности, как известно, была одной из основных в работах Ю.М.Лотмана, в том числе в разработке теории семиосферы, с 1960-х годов до опубликованных посмертно «Бесед о русской культуре».

IV.

В этом смысле отдельного рассмотрения заслуживает проблема понятия «вторичные моделирующие системы». Этот термин родился в полушутливой беседе Ю.М.Лотмана с В.А.Успенским – математиком, учеником А.Н.Колмогорова, одним из зачинателей структурной лингвистики и инициаторов организации Летних школ. Позже В.А.Успенский вспоминал: «<…> во время наших прогулок (на даче в Эльве в июле 1964 года. – *Н.П.*) для Юрия Михайловича было естественно поделиться со мной своею тревогою за судьбу задуманной им серии летних семиотических школ и, в частности, с повышенной серьезностью обсудить вопрос об их названии. Было ясно, что семиотика "засветилась" и назвать летние школы школами по семиотике нельзя. К этому времени вышла статья А.А.Зализняка, Вяч.Вс.Иванова и В.Н.Топорова "О возможности структурно-типологического исследования некоторых моделирующих семиотических систем" <…>. Пятый раздел сборника тезисов докладов, выпущенного к Симпозиуму по семиотике, назывался "Моделирующие семиотические системы" <…>. Под впечатлением этих заголовков я предложил Лотману назвать его школы "Летними школами по **вторичным моделирующим системам**". Название, на мой взгляд, обладало следующими ключевыми

достоинствами: 1) звучит очень научно; 2) совершенно непонятно; 3) при большой нужде может быть все же объяснено: первичные системы, моделирующие действительность – это естественные языки, а все другие, над ними надстроенные – вторичные» [Успенский В. 1995: 106].

В итоге термин «вторичные моделирующие системы» оказался еще более размытым, чем термины «модель» и (позднее) «текст»: «В изданиях Летней школы не отражены обсуждения, и это определение порождало и продолжает порождать много трудностей: каково отношение языка, например, к живописи или ритуалу, которые ясно определены как "вторичные", и каковы результаты употребления лингвистической методологии, если все эти феномены первично являются лингвистическими» [Shukman 1977b: 24]. В настоящей работе не ставится цель попытаться определить этот термин в рамках общей теории (или общих теорий) Тартуско-Московской школы: его понимание менялось, в разные этапы существования школы давались различные его определения; кроме того, строго говоря, сама формулировка «вторичные моделирующие системы» зародилась в начале того этапа, который выходит за хронологические рамки данной работы. Однако можно выдвинуть предположение, почему именно для раннего Ю.М.Лотмана это понятие должно было бы быть нехарактерно.

Для Московского кружка термин «вторичные моделирующие системы» органичен. В самом деле: первичная моделирующая система – язык – создает универсальную модель, по которой становится возможно познавать значительно более сложные, но изоморфные ей системы искусства и других областей культуры. Фактически так и строится система отношений в уже цитировавшемся манифесте А.А.Зализняка, Вяч.Вс.Иванова и В.Н.Топорова:

«Исследуя все множество знаковых систем, составляющих предмет семиотики, можно установить, что разные знаковые системы по-разному моделируют мир (понимаемый в кибернетическом смысле; ср. высказывание фон Неймана, по которому мир может рассматриваться как пассивная память машины). Эта градация определяется степенью отвлеченности знаковой

системы S от совокупности объектов W, которая выступает в качестве наиболее естественной интерпретации S. Примером наибольшей степени отвлеченности могут служить некоторые математические системы (типа абстрактной теории множеств), обладающие минимально моделирующей способностью. Противоположный пример представляет собой знаковые системы религии, обладающие наименьшей степенью отвлеченности и максимальной моделирующей способностью. Здесь структура моделируемой совокупности W в наибольшей степени зависит от внутренних семиотических свойств моделирующей системы S. Промежуточное положение между математическими знаковыми системами и знаковыми системами религий занимают знаковые системы естественных языков. Для целей настоящей работы существенно то, что в этой градации языковые системы предшествуют системам религии; в частности, в связи с этим целесообразно попытаться приложить некоторые методы новейшей лингвистики и семиотики к изучению знаковых систем религии. Это особенно важно потому, что здесь перед нами предельный случай, позволяющий наиболее отчетливым образом исследовать определенные свойства, существенные и для языковых систем. Иными словами, помимо черт общих у языка и религии со всеми другими семиотическими системами (возможность членения некоторой последовательности на элементы, входящие в систему, наличие по крайней мере двух планов у каждого из этих элементов, существование синтаксических и парадигматических отношений) у них есть и некоторые другие специфические общие свойства. Из наличия этих общих свойств, связанных с относительно более высокой моделирующей способностью, вытекают и определенные сходства в использовании систем обоего рода как автоматизируемых формальных программ, навязываемых всем членам коллектива (в частности, это специфическое использование отличает такие системы от других моделирующих знаковых систем типа языков некоторых наук и искусств). Для исследования таких автоматизированных и, следовательно,

бессознательных программ новейшая лингвистика выработала специальные методы, которые, по-видимому, могут быть с пользой применены и при анализе других знаковых систем сходного типа» [Зализняк, Иванов, Топоров 1962: 134].

Очевидно, что «моделирование» здесь понимается только на уровне синтактики: выстраивание модели отношений между языковыми и культурными (в данном случае религиозными) системами знаков. Однако если перейти на уровень прагматики и попытаться рассмотреть систему в ее динамическом функционировании и соотнесении с контекстом (т.е. произвести собственно динамическое моделирование), то стройная система Структурализма начинает разрушаться изнутри. До Ю.М.Лотмана такие случаи были нечасты[30] – самой показательной, пожалуй, оказалась попытка Б.А.Успенского определить специфику семиотического познания искусства с помощью категориального аппарата формальной школы: «Реальный текст искусства представляет последовательность эстетических и обычных знаков. Отношение к норме можно считать научной интерпретацией понятия **условности.** С этой точки зрения всякое произведение искусства условно, поскольку всегда предполагает какую-то норму, на фоне которой оно воспринимается; отсутствие нормы – т.е. отсутствие ограничений в возможных комбинациях элементов выражения и содержания – представляет чистый формализм и потому не может быть содержательно. Вопрос об истинности или правильности этих ограничений неправомерен (выходит за рамки теории искусства). <…> Таким образом, как в процессе, так и в результате искусство может составить предмет семиотического исследования. Некоторый набор знаков внушает художнику содержание. Он организует его отчасти по формальным правилам (в норму и отклонения от нее); в результате получается последовательность символов, которые зритель

[30] В данном случае не берется в расчет концепция А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова, которая по отношению к Структурализму Московского кружка во многом находилась в отношениях противопоставленности и потому рассматривается как отдельный феномен в отдельном параграфе.

наполняет своим содержанием (лишь частично совпадающим с содержанием художника или другого зрителя); тут имеет место характерная для искусства передача процесса творчества от художника к зрителю» [Успенский Б. 1962: 127–128]. Здесь Б.А.Успенский приближается к Ю.М.Лотману. Характерно, что позже, в 1964–1967 годах, именно его Ю.М.Лотман пытался устроить в Тартуском университете руководителем Лаборатории по семиотике ТГУ; замысел в те годы не осуществился – см. об этом в переписке Ю.М.Лотмана и Б.А.Успенского [Лотман, Успенский 2008: 11–13, 53–55, 63–66, 81].

Однако, как бы то ни было, термин «вторичные моделирующие системы» возник именно при Ю.М.Лотмане и именно Ю.М.Лотманом активнее всего использовался – несмотря на всю нехарактерность для его концепции выстраивания тех строго-формальных иерархий, которые предполагаются в определении «вторичные». Этому может быть несколько объяснений.

I. С одной стороны, Ю.М.Лотман принял этот термин из уважения к теории Московского кружка: предлагая свой вариант семиотики, он вовсе не собирался разрушать предшествующий вариант этого течения (хотя в результате фактически именно это и получилось); для него всегда была характерна толерантность, что проявлялось, например, в том, что на тартуанские конференции приглашались даже такие далекие от структурализма люди, как, скажем, С.С.Аверинцев.

II. С другой стороны, неизвестно, понимал ли Ю.М.Лотман заложенную в определении «вторичные» иерархичность так же, как московские структуралисты, т.е. на уровне синтактики. Возможно, что он определял ее для себя на уровне прагматики. В таком случае здесь может быть две трактовки.

Первая: первичные моделирующие системы (т.е. лингвистические) способны моделировать себя, находясь в пределах своей собственной системы (языка). «Моделировать себя» здесь, по-видимому, должно означать приблизительно следующее: «обладать способностью порождать новые

смыслы, исходя из потенциала собственной структуры». Для вторичных же моделирующих систем (т.е. культурных, в частности систем искусства) своих собственных ресурсов для моделирования уже недостаточно – им нужен контекст.

Вторая: соотношение планов синтактики и семантики, характерное для естественных языков, в языках культуры становится нерелевантным (например, выражение в искусстве не отделено от содержания, а само является частью содержания, а синтактика, таким образом, – частью семантики). Соответственно, первичные моделирующие системы способны моделировать независимо друг от друга синтактический и семантический планы (причем при изменении выражения содержание может не меняться), а для вторичных резко повышается актуальность уровня прагматики: смысл заложен в самой структуре, и при любой ее трансформации (например, при переводе) содержание изменяется.

Для раннего Ю.М.Лотмана скорее характерна именно вторая концепция, что подтверждается во многих местах текста «Лекций…», например: «Текст является знаком определенного содержания, которое в своей индивидуальности связано с индивидуальностью данного текста. В этом смысле существует глубокое различие между лингвистическим и литературоведческим пониманием текста. Языковой текст допускает разные выражения для одного и того же содержания. Он переводим и в принципе безразличен к формам записи (звуковая, буквенная, телеграфными знаками и т.д.). Текст литературного произведения в принципе индивидуален. Он создается для данного содержания и, в силу отмеченной выше специфики отношения содержания к выражению в художественном тексте, не может быть заменен никаким адекватом в плане выражения без изменения плана содержания. Связь содержания и выражения в художественном тексте настолько прочна, что перевод в другую систему записи, по сути дела, также небезразличен для содержания» [Лотман 1964/1994: 206].

Краткое резюме этой концепции сам Ю.М.Лотман составил в тезисах «Проблема знака в искусстве», опубликованных в сборнике «Программа и тезисы докладов в Летней школе по вторичным моделирующим системам, 19–29 августа 1964 г.» (Тарту, 1964):

«В поэтическом тексте соотношение планов содержания и выражения иное, чем в обычных языковых системах. Оно подчинено тем же законам, которые действуют и в других художественных знаках, – планы содержания и выражения оказываются тесно связанными. План выражения становится фактором смысла, схемой построения значения. <…> Если в обычной речи фонологический и грамматический уровни могут быть отделены от семантической стороны речи, то в поэзии они оказываются значимыми. Это положение имеет ряд существенных практических следствий, определяя, в частности, глубоко отличный механизм перевода обычной и поэтической речи. <…> Семантика поэтической речи оказывается сложно построенной, причем специфика смысловых пересечений, системы семантических сопротивопоставлений зависит от свойственного данному тексту построения всей структуры плана выражения. <…> Природа знака в поэзии специфична и в другом отношении – знаком, носителем значения, здесь выступает не слово, а весь текст, как указывал еще Потебня. С точки зрения семантики поэтическое произведение можно определить как сложно построенное единое значение, выразить которое при помощи иных знаковых систем не представляется возможным. Поэзия есть явление смысла» [Лотман 1964/2000: 378].

III. Кроме того, вполне вероятно, что Ю.М.Лотман уже в 1960-е годы понимал термин «язык» не в лингвистическом, а в семиотическом смысле. Тогда на первичном уровне семиотический объект выстраивает сложную систему внутренних связей – своего собственного языка, – а на вторичном определяет себя как семиотический уникум по отношению к контексту вне себя, моделируется им и, в свою очередь, моделирует его. Такое понимание лотмановского термина может показаться натянутым, однако именно по

такой схеме строятся его «Лекции по структуральной поэтике», точнее, их практическая часть (главы 2–3): от исследования структуры стиха – к изучению внетекстовых структур. Этот же категориальный аппарат позднее ляжет в основу концепции семиотики культуры 1970-х и теории семиосферы 1980-х годов. Со Структурализмом Московского кружка эта концепция не имеет в своей основе ничего общего: каждый семиотический объект является индивидуальным и уникальным, его язык каждый раз создается заново и не является вариантом, отображающим в себе основные особенности структуры некого Инварианта.

IV. Наконец, можно также предположить, что «первичной» моделирующей системой для Ю.М.Лотмана на данном этапе является вовсе не язык, а сама действительность, а «вторичным» в таком случае может быть только искусство (а не, скажем, тот же язык или бытовое поведение) как специфическое отражение действительности. Кажется, подобный подход можно усмотреть в начале «Лекций…», в главе «Специфика искусства (Постановка вопроса)»: «Если нам удастся доказать правомерность взгляда на произведение искусства как на модель действительности, то тогда уместно будет использовать при изучении природы искусства современные научные представления о сущности моделей и определить, что́ в искусстве роднит его с другими типами моделей, а что́ составляет своеобразие данного вида моделирования. Встанет вопрос о рассмотрении искусства в ряду других моделирующих систем. <…> Искусство отличается от некоторых других видов познания тем, что пользуется не анализом и умозаключениями, а *воссоздает* окружающую человека действительность второй раз, доступными ему (искусству) средствами. То, что познание в искусстве достигается в процессе воссоздания действительности, – чрезвычайно существенно. Как мы увидим, с этим связан ряд основополагающих сторон искусства» [Лотман 1964/1994: 30]. Однако вскоре, уже во время первой Летней школы, под «первичной моделирующей системой» со всей определенностью будет пониматься не действительность, а язык.

Для более подробного анализа семантики и эволюции понятия «вторичные моделирующие системы», очевидно, требуется отдельное исследование, а сейчас необходимо вновь вернуться к статьям раннего Ю.М.Лотмана.

V.

В следующей структуралистской статье, «О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры» (1963), Ю.М.Лотман вновь акцентирует внимание на важности изучения контекста – на этот раз рассуждая о структурном изучении плана содержания в языке и о соотнесенности языков искусства и не-искусства. Здесь он выстраивает отношения между текстом и воспринимающим этот текст наподобие того, как в предыдущей работе демонстрировал диалектическую взаимосвязь искусства и реальности: «Дело в том, что структурная семантика слова находится всегда в определенном отношении к контекстно-языковому значению. Читая художественное произведение и не понимая еще всю сложность замысла автора, мы тем не менее понимаем его текст, если владеем языком, на котором оно написано. Это текстуальное понимание дает грубое, в первом приближении, представление об идейной структуре. Это представление по-новому раскрывает нам текст, что, в свою очередь, изменяет наше суждение о структуре идей и вновь возвращает к тексту. Между пониманием семантики отдельного слова и семантики структуры существует отношение соотнесенности. Когда мы пользуемся языком как средством информации, перед нами проходит протяженная во времени цепь значащих сигналов, каждый из которых привлекает наше внимание однократно. Художественное произведение воспринимается как целостная структура, что неизбежно требует постоянного возвращения к уже, казалось бы, выполнившим свою информационную роль деталям» [Лотман 1963: 50].

Это – еще один постулат, на котором будет основана концепция, развернутая в «Лекциях по структуральной поэтике». Язык искусства строится по принципу фрактала: каждый элемент структуры отражает всю

структуру в целом и отражается в ней[31]; в результате любой, самый формальный, элемент несет содержание, присущее только этой структуре: «Положение резко меняется при переходе из сферы языка в область словесного искусства. Здесь "материал содержания" сам структурен, так как представляет собой воспроизведение жизни, воссоздание ее структуры в том виде, как она понимается писателем» [Лотман 1963: 52]. Вследствие этого происходит перераспределение интереса с выстраивания универсальных структурных типологий на семиотическую значимость каждой детали в ее конкретно-исторической уникальности: «Таким образом, изучение лингвистическими средствами текста, высказывания любой протяженности, включая и понятие "все сказанное на этом языке", не может дать исчерпывающего представления о мысли, вложенной автором в литературное или научно-публицистическое сочинение, т.е. о подлинной семантике текста. Кроме лингвистической структуры, необходимо учитывать и структуру передаваемого содержания, которая, хотя и передается средствами языка, но не является языковой по своей природе» [Лотман 1963: 52]. Ю.М.Лотман сознательно отходит от анализа языков, не принадлежащих к искусству, однако, по всей вероятности, свои воззрения имплицитно распространяет и на них: в частности, рассуждает о важности контекста для адекватного определения содержания того или иного термина [Лотман 1963: 45–47].

Что понимается под «неязыковой структурой содержания», не очень понятно; возможно, это темное место следует расценивать как очередную попытку автономизации искусства (и – шире – культуры) от лингвистически ориентированного Структурализма.

Итак, уникальность объекта (произведения искусства) познается благодаря анализу контекста, который, в свою очередь, становится для воспринимающего иным после каждого акта познания этого объекта. Отсюда следуют два кардинальных вывода. Во-первых, разрушается самая

---

[31] Пожалуй, одна из немногих точек пересечения мировоззрения Структурализма и теории Ю.М.Лотмана. Впрочем, сразу после этого Ю.М.Лотман вновь с ним расходится.

фундаментальная минимальная модель передачи информации (адресант → сообщение → адресат): единый акт из однократного превращается в многократный, текст становится полноправным партнером воспринимающего и начинает не только передавать информацию о вне его лежащей действительности, но и самостоятельно моделировать реальность. Во-вторых, если текст и реальность способны бесконечно взаимно моделировать друг друга, то тот, кто воспринимает этот процесс, сталкивается уже не с единой структурой, которую можно исчерпывающе познать, выстроить типологию всех элементов данной структуры и представить ее саму как деталь структуры высшего уровня. Скорее он имеет дело с происходящим в его сознании процессом взаимной деконструкции и текста, и реальности, работающим при каждом новом акте прочтения текста или познания реальности, т.е. функционирующим как перпетуум-мобиле.

Сложно сказать, подразумевал ли Ю.М.Лотман такой оборот событий, когда писал свои первые семиотические статьи; скорее всего, нет. К идеям французских семиологов группы «Tel Quel» он относился негативно, предпочитая им французских же структуралистов старшего поколения: «<…> Леви-Стросс – крупнейший исследователь конкретного плана (что всегда наиболее ценно), Фуко – острый и талантливый философ, во французском значении этого слова, а Барт и Кристева (прости, Господи, меня грешного!) мало интересны. Это писатели-эссеисты и не очень крупного масштаба» [цит. по: Автономова 2009: 469]. В таком случае оказывается тем более интересно имплицитное развитие его мысли. К собственному осознанию подобной постструктуралистской (в широком смысле) глубинной основы своей теории он, по всей видимости, пришел позднее, в конце 1970-х – начале 1980-х годов, когда начал разрабатывать теорию семиосферы.

VI.

Любопытно, что – видимо, чувствуя принципиальное отличие своего «структурализма» от структурализма Московского кружка – во введении к «Лекциям…» Ю.М.Лотман попытался «примирить» обе эти

интеллектуальные тенденции: «Особенность структурного изучения состоит в том, что оно подразумевает не рассмотрение отдельных элементов в их изолированности или механической соединенности, а определение соотношения элементов между собой и отношения их к структурному целому. Оно неотделимо от изучения функциональной природы системы и ее частей. При этом, естественно, открывается возможность анализа структуры на двух уровнях – "физическом", при котором изучение функций и отношений элементов должно привести нас к пониманию их материальной природы, а сама структура рассматривается как некая материальная данность, и "математическом", при котором изучаться будет природа отношений между элементами в абстракции от их материальной реализации, а сама структура предстанет в качестве определенной *системы отношений*. <…> для изучения художественной литературы будет необходимо построение моделей структур и "физического", и "математического" типа. Они обладают разной степенью всеобщности, и первые удобнее, когда нам придется моделировать *данную* структуру, вторые – *всякую*» [Лотман 1964/1994: 18]. Однако уже через несколько страниц, споря с формалистами, Ю.М.Лотман утверждает: «Необходимо изучить *структуру идеи, структуру поэтического представления о действительности*, то есть структуру словесного искусства. Это будет методология, противостоящая и формальному анализу разрозненных "приемов", и растворению истории искусства в истории политических учений» [Лотман 1964/1994: 23]. Спор с формалистами и марксистами по поводу изучения соотношения искусства и действительности приводил фактически к отказу и от генерализирующей системы Структурализма.

В дальнейшем в данной книге, а также в последующих трудах Ю.М.Лотман будет проводить анализ, руководствуясь теми принципами, которые были изложены в двух его первых структуралистских (точнее, семиотических) статьях, т.е. станет разрабатывать структурализм как метод семиотического исследования, но не как «большую парадигму». В том же

1964 году, когда вышли «Лекции…», была проведена первая Летняя школа по вторичным моделирующим системам, где, очевидно, идеи Ю.М.Лотмана активно обсуждались (см. уже упоминавшиеся воспоминания о его споре с И.И.Ревзиным [Лотман 2003: 50–51]) и в итоге были приняты большинством участников зарождающейся Тартуско-Московской школы. Они, начиная с 1964 года, все больше будут отходить от прежней «большой парадигмы» в сторону общесемиотических разработок.

VII.

В то же время сам Ю.М.Лотман спустя несколько лет, в ходе полемики с оппонентами Тартуско-Московской школы (конкретно с В.В.Кожиновым), вновь попытался объединить свой подход с взглядами Московского кружка, представив их как два этапа единого структурного анализа:

«Методологической основой структурализма является диалектика.

Одним из основных принципов структурализма является отказ от анализа по принципу механического перечня признаков: художественное произведение не сумма признаков, а функционирующая система, структура. Исследователь не перечисляет "признаки", а строит модель связей. Каждая структура – органическое единство элементов, построенных по данному системному типу, – в свою очередь, лишь элемент более сложного структурного единства, а ее собственные элементы – каждый в отдельности – могут быть рассмотрены как самостоятельные структуры. В этом смысле идея анализа по уровням, вообще присущая современной науке, глубоко свойственна структурализму. Из этого же следует, что строгое разделение синхронного и диахронного (исторического) анализа, очень важное как методический прием и сыгравшее в свое время огромную положительную роль, имеет не принципиальный, а эвристический характер. Изучение синхронных срезов системы позволяет исследователю перейти от эмпиризма к структурности.

Но следующим этапом является изучение функционирования системы. Более того, теперь уже ясно, что, когда мы имеем дело со сложными

структурами (а искусство принадлежит к ним), синхронное описание которых, ввиду их многофакторности, вообще затруднительно, знание предшествующих состояний является неизбежным условием успешного моделирования. Следовательно, структурализм не противник историзма; более того, необходимость осмысления отдельных художественных структур (произведений) как элементов более сложных единств – "культура", "история" – представляет собой насущную задачу. Не математика и лингвистика *вместо истории*, а математика и лингвистика *вместе с историей* – таков путь структурного изучения, таков круг союзников литературоведа» [Лотман 1967/2005: 759–760].

Однако связь между этими двумя подходами оставалась искусственной, и уже через несколько абзацев, отвергая виталистские воззрения противников структурализма и одновременно поэтику выразительности А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова, Ю.М.Лотман фактически отверг и ряд идей, которые были характерны для Московского кружка в начале 1960-х годов [Лотман 1967/2005: 761–762].

VIII.

Изучение сложных самонастраивающихся систем и их функционирования в культуре, а также постепенная универсализация и онтологизация собственного метода исследования постепенно приведут Ю.М.Лотмана к разработке теории семиосферы: «Идея Юрия Михайловича о культуре как совокупности текстов <…> имела своим неизбежным последствием *натурализацию*, "оприроднивание" культуры. В процессе разработки этой идеи стало возможным говорить не только, скажем, "как я понимаю культуру" (о чем говорилось и раньше), но и о том, как одна конкретная культура понимает другую или саму себя. Сейчас я думаю, что эта именно неосознаваемая нами тогда *онтологизация* метода неизбежно должна была нас привести к натурализации объекта – пределом чего и явилась лотмановская идея *семиосферы* (уже в 80-х годах)» [Пятигорский 1994: 326–327].

Впрочем, универсализация и метода, и объекта у Ю.М.Лотмана была качественно иного рода, чем в других течениях российского структурализма. Ср.: «Имманентное описание очень редко встречается в работах Лотмана: для него неотъемлемый двойник текста – "экстра-текст", так же как понимание культуры неотъемлемо от понимания литературы, а понятие не-культуры – для понимания культуры. Это было движение для определения этих постоянно расширяющихся противопоставленных контекстов, которое привело Лотмана к исследованию универсалий культуры, но универсалий, определяемых как относительные, а не абсолютные. Релятивизм Лотмана, поиск скорее отношений, чем сущностей, однако, смягчается его сильным ощущением реальности истории, и эта история в его последних работах обеспечивает концептуальную основу его теории. Абстракции и универсалии выглядят обоснованными, по сути, благодаря их исторической данности, и все абстракции подвержены законам диахронии и изменчивости <…>. В последних исследованиях семиотики культуры Лотман достиг формулировки релятивистской точки зрения, у которой, кажется, могла бы найтись универсальная применимость» [Shukman 1977a: 44, 49].

Однако (как следствие универсализации) натурализация и объекта, и, пожалуй, с течением времени даже метода для Ю.М.Лотмана действительно были характерны. Ю.М.Лотман понимал, что его теории культуры и семиосферы сами являются частью культуры и семиосферы. Но это его не смущало – скорее, наоборот, свидетельствовало о полном слиянии с объектом и с окончательным переходом на позицию объективного наблюдателя[32]. Научная позиция отождествлялась с культуртрегерской (не отстраненное исследование, а участие в самом процессе развития культуры) и эпистемологической (уравнивание метода с объектом)[33]. Ср.: «Хотя

---

[32] О критическом отношении ряда исследователей наследия Тартуско-Московской школы к подобным категориальным смешениям и онтологизации метода и объекта см. во вступлении ко второй главе настоящей работы. О применении приема натурализации метода и объекта см. также в параграфе о Р.Д.Тименчике.

[33] Ср. в параграфе об А.К.Жолковском и Ю.К.Щеглове указание на различие подхода авторов поэтики выразительности как competence и позиции Ю.М.Лотмана как

теоретические построения в области культурной типологии <…> являются общепризнанным вкладом Лотмана в семиотику, для самого Лотмана, по нашим наблюдениям, они были важны как предельное обобщение опыта анализа конкретных явлений культуры. Как нам кажется, эти построения служили одновременно двум целям: 1) чисто научной задаче раскрытия сущности человеческой культуры (отсюда характерное для Лотмана требование описывать феномен культуры как процесс во всем его многообразии и сложности, не жертвуя фактами ради "красоты" теории) и 2) продолжению самого дела культуры. <…> Итак, семиосфера Лотмана остается в рамках научного дискурса, но преображает мир гуманитарного знания, функционально уподобляясь в этом искусству» [Киселева 1998: 10, 13].

Это вызовет у Ю.М.Лотмана в 1980-е годы формирование качественно новой «большой парадигмы» – Семиотики, более гибкой, чем ушедший в прошлое Структурализм и тем более чем официозный Марксизм, однако практически никем не востребованной. Исследователи, для которых семиотика осталась значима (Б.М.Гаспаров, В.М.Живов, И.А.Паперно, Б.А.Успенский и др.), будут воспринимать ее как научную теорию со своим концептуальным аппаратом, а не как общеидеологический конструкт. По всей видимости, дело здесь уже не в конкретных достоинствах или слабостях той или иной мировоззренческой системы (парадигма Семиотика была основана на таком фундаменте, который мог бы обеспечить ее жизнестойкость и эффективное функционирование в течение ряда лет), а в том, что к 1980-м годам утопические интенции эпохи, когда Тартуско-Московская школа только зарождалась, уже изжили себя. Структурализм разрушился во второй половине 1960-х годов; конкретным поводом оказалась концепция Ю.М.Лотмана, мыслителя, авторитетного для участников Московского кружка; однако структуралистское мировоззрение

---

performance, попытки проникновения внутрь самого хода творческой мысли изучаемого автора.

исчерпалось не в 1964 году, а ближе к началу 1970-х годов, параллельно с исчерпанием утопического потенциала Оттепели в целом. «Большие парадигмы» стали неактуальны[34].

IX.

Как известно, семиотические методы анализа нашли широкое применение в трудах участников Тартуско-Московской школы (прежде всего – в работах самого Ю.М.Лотмана), а в 1980–1990-е годы – и за ее пределами. Ю.М.Лотман демонстрировал применение метода бинарных оппозиций (один из основных аналитических приемов в инструментарии семиотики, рассмотрение которого, однако, выходит за пределы настоящей работы) на всех уровнях исследования художественного текста и литературного процесса в целом. Это можно проследить в его работах об А.С.Пушкине.

В 1960-х – первой половине 1970-х годов Ю.М.Лотман, учитывая историко-литературный контекст создания пушкинских произведений, тем не менее сосредоточен скорее на исследовании внутритекстовых связей: от фоносемантики до уровня построения характеров и сюжета. Характерным примером семиотического анализа с применением метода бинарных оппозиций могут служить разборы стихотворений «Ф.Н.Глинке» и «Зорю бьют… из рук моих…», представленные в книге «Анализ поэтического текста» (Л., 1972), где рассматривается уникальность каждого текста, выведенная из особенностей его структуры. На всех уровнях поэтического текста (от звукописи до выведения конструктивной идеи стихотворения) выстраивается бинарная система, исходя из которой реконструируется семантическое поле текста.

Этот же принцип анализа применяется и в таких работах, как «К эволюции построения характеров в романе "Евгений Онегин"» (1960; здесь еще довольно ощутимо влияние структурализма Московского кружка: выстраиваемая система скорее статична и универсальна для всего романа),

---

[34] О некоторых чертах Семиотики Ю.М.Лотмана как «большой парадигмы» см. также в параграфе об А.Л.Зорине.

«Художественная структура "Евгения Онегина"» (1966; здесь Ю.М.Лотман модифицирует и усложнит систему, представленную в предыдущей работе), «Идейная структура "Капитанской дочки"» (1962; здесь уже заметно не столько структуралистское, сколько семиотическое постижение характерологии произведения и основных сюжетных коллизий). Подробнее анализ эволюции семиотики Ю.М.Лотмана в этих трех работах см. в статье Л.Н.Киселевой «Ю.М.Лотман: от истории литературы к семиотике культуры (о границах лотмановской семиосферы)» [Киселева 1998]. Разумеется, только лишь к названным работам применение семиотических методов анализа у Ю.М.Лотмана не сводится – скорее можно говорить, что это наиболее яркие примеры.

Во второй половине 1970-х и в 1980-х годах, т.е. с разработкой концепции семиосферы, Ю.М.Лотман всё активнее применяет семиотические методы к более широкому историко-литературному контексту. Среди наиболее ярких примеров нужно назвать уже упоминавшиеся статьи «Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе» (1982) и «Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи» (1986), где анализ пушкинского творчества вписан в широкий историко-культурный контекст. Кроме того, в первой из названных работ представлен уникальный в российской филологической практике эксперимент: реконструкция ненаписанного текста, от которого осталось только одно заглавие в пушкинских черновиках, на основании встраивания его в систему других произведений А.С.Пушкина и в структуру его мировидения в тот период, которым датируется черновик.

Одним из итогов развития семиотических методов на материале пушкинского творчества можно считать книгу «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» (Л., 1981, переизд. 1983), в которой собственно биография поэта предстает не столько как хроника дат и событий, сколько как сложное сознательное выстраивание жизнетворчества, проявляющееся, в том числе, в семиотическом насыщении А.С.Пушкиным каждого факта своей жизни.

X. Дополнение.

Утверждение о постструктурализме Ю.М.Лотмана не ново. Из наиболее авторитетных исследователей наследия Ю.М.Лотмана эту точку зрения поддерживает Ким Су Кван, хотя и с оговорками: «Очевидное расхождение между теоретическими взглядами раннего и позднего Лотмана иногда даже позволяет сделать вывод, что поздние идеи Лотмана должны пониматься как "отказ" от всех исходных понятий, то есть возникают за счет "взрывной трансформации" своей сущности. <…> В каком-то смысле двусмысленность заложена уже в самом словосочетании "структурно-семиотический", которое в неявном виде включает в себя представление о двух полюсах метода. То есть сам по себе эволюционный путь Лотмана от панлингвистической системности и логической предсказуемости в "Лекциях по структурной поэтике" до принципиального "полиглотизма" и непредсказуемости в понятиях "семиосферы" и "взрыва" можно рассматривать, несколько огрубляя, как движение от одного полюса к другому. <…> невозможность полностью осмыслить теоретические модели Лотмана на любых стадиях его творческой эволюции только при освещении какого-либо одного полюса метода отчетливо подчеркивает специфику структурно-семиотической теории Лотмана как таковой, то есть характерную для нее двусмысленность, которая в принципе имеет не временный и преодолимый, а постоянный, всепроникающий характер» [Ким Су Кван 2003: 15–16].

Подобное недоумение, однако, может возникнуть, только если действительно сравнивать концепцию Ю.М.Лотмана с «типичными структуралистскими или постструктуралистскими стратегиями». Он не вписывается полностью в каноны ни тех, ни других (если подразумевать под ними наиболее известные движения – Пражский и Копенгагенский структуралистские кружки, включая Р.О.Якобсона, французский структурализм, включая Клода Леви-Стросса, французский семиологический кружок, Йельский постструктурализм в США и т.д.). Кроме того, развитие

идей Ю.М.Лотмана от 1960-х к 1990-м годам весьма последовательно, в нем нет таких резких сломов, как в эволюции взглядов французских семиологов, группировавшихся вокруг журнала «Tel Quel». Ким Су Кван точно подметил двойной эффект: сначала возникает ощущение явного перехода Ю.М.Лотмана от структурализма к постструктурализму, однако при ближайшем рассмотрении становится видно, что его теория в основе своей весьма последовательна, хотя и расширяет постепенно границы изучаемой области (от структуры стиха до анализа всей семиосферы человечества), а также корректирует терминологический аппарат.

На этой последовательности настаивает другой авторитетный исследователь, Н.С.Автономова (хотя, пожалуй, с излишней категоричностью заявляя о лотмановском структурализме):

«Многие – и былые сторонники, и былые противники Лотмана – считают, что за последнее десятилетие его жизни он стал другим. Его-де стали интересовать уже не структуры, но динамика непредсказуемых процессов, не передача информации, но (вслед за Бахтиным) диалогическое общение, в частности, общение между людьми и текстами и т.д. и т.п. Вследствие этого некоторые доброжелательно настроенные к Лотману представители постструктурализма пытаются приспособить его к себе, подчеркивая сходство позднего Лотмана с некоторыми тезисами постструктуралистской программы. <…> На самом деле, впечатление о радикальной новизне позднего Лотмана может возникнуть, если смотреть на него извне. Если же погрузиться в собственные работы Лотмана и вновь пройти шаг за шагом по главным этапам его исследовательской биографии, тогда образ нового Лотмана-постструктуралиста <…> вряд ли будет убедительным» [Автономова 2009: 215, 217]; «<…> тем, кто видит в Лотмане постструктуралиста, стоит напомнить о том, что внимание к динамике есть и в ранних статьях Лотмана, а ориентация на науку и объективность познания присутствует и в поздних. Так, уже в ранних статьях речь идет не только о структурах, но также о структурировании как процессе, не только о

функционировании знаковых систем, но и о семиозисе как общей динамике процессов означивания в культуре, только это не динамика хаоса, а динамика систем. И вместе с тем у Лотмана есть устойчивая ориентация: поиск порядка в хаосе преобладает над поиском хаоса в порядке, хотя ко всем факторам динамического нарушения системности он был образцово чуток» [Автономова 2008: 126].

По всей видимости, излишняя категоричность в изолировании Ю.М.Лотмана от постструктуралистов здесь кроется в следующем уравнивании: современный российский постструктурализм ассоциируется с постмодернистской критикой, которая, в свою очередь, становится символом антинаучности и антиструктурности. Н.С.Автономова – достаточно крупный специалист в области французского структурализма и постструктурализма и прекрасно понимает, что во Франции второй половины XX века картина существования и взаимодействия аналогичных тенденций была гораздо более сложна, а постструктурализм далеко не всегда предполагал антинаучность и антиструктурность. Но задача Н.С.Автономовой в данном случае – не столько философско-методологическая, сколько публицистическая: в книге «Открытая структура» (М., 2009) она последовательно высказывает мнение, что российский постструктурализм – наследник не французской мысли, а американской и является не столько серьезной философией, сколько свидетельством общей моды на постмодерн. Представителями этого постструктурализма оказываются круг авторов издательства «Ad Marginem» и журнала «Логос», а также, очевидно, кружок философа В.А.Подороги. Отстаивая Ю.М.Лотмана как образец научности и, следовательно, структурализма, Н.С.Автономова спорит именно с ними.

Думается, однако, что российский постструктурализм можно понимать и более расширительно, не сводя его лишь к постмодернистской критике и какой-либо узкой группе людей. Как известно, европейский и американский постструктурализм в широком смысле – это сложный комплекс течений, вышедших из структурализма, в ряде ключевых пунктов на нем

основывающихся, но во многом критически его переосмысляющих. Это общегуманитарный комплекс, где границы между филологией, философией, культурологией, социологией, антропологией, психологией и др. размыты, и одна дисциплина легко перетекает в другую. С концепциями интертекстуальности, тождества языка и сознания, смерти субъекта соседствует идея социологического поворота[35] в изучении своего объекта: отказ от генерализирующих исследовательских оптик, от изучения единых законов и норм, внимание к человеческой уникальности во всех ее проявлениях. (К этому направлению можно отнести, в частности, Клиффорда Гирца, Хейдена Уайта и американских новых истористов, идеи которых будут затрагиваться во второй главе, а также отчасти Мишеля Фуко.) Если такое же понимание сущности постструктурализма распространить и на российскую почву, то Ю.М.Лотман, несмотря на разработку «большой парадигмы» Семиотики (а может, даже благодаря этому), вполне впишется в данное определение, оставаясь при этом в рамках академической научности. Причем вписывается последовательно: постструктуралистские тенденции, как было выше показано, намечаются уже в самых первых его структуралистских статьях, где он критически переосмысляет постулаты российского структурализма во всех его проявлениях – не только Московского кружка, но и группы А.Н.Колмогорова, и поэтики выразительности А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова[36].

Не случайно Н.С.Автономова, когда от общего утверждения Ю.М.Лотмана в качестве образца строгой научности обращается к конкретным признакам его концепции, признает: «Конечно, Лотман менялся, как человек и как мыслитель, однако, несмотря на все сдвиги, в нем активно

---

[35] Журнал «Новое литературное обозрение», последовательно проводящий аналогичный курс в современной российской гуманитарной сфере, называет его «антропологическим поворотом» (см., например, спецномер № 100 (2009) «Антропология закрытых обществ» и вступление к нему: [Прохорова 2009]). Об этой тенденции, а также в целом о постструктурализме в широком смысле см. подробнее в параграфе о С.Л.Козлове.

[36] О несходствах идей последних двух кружков с лотмановскими см. в соответствующих параграфах.

существовала структурная составляющая его исторических интересов. Мы видим, что внимание к динамике есть и в ранних статьях Лотмана, а ориентация на науку и объективность познания присутствует и в поздних. Так, уже в ранних статьях есть элементы, которые многим могли бы показаться "постструктуралистскими". Например, понятие взрыва, которое многие критики связывали с перестройкой, с распадом культурных ценностей, на самом деле обнаруживается в его творчестве уже в начале 1970-х годов и относится к давним эпизодам в истории человечества. Далее, уже в ранних работах речь идет не только о структурах, но и о самом процессе структурирования, не только о функционировании знаковых систем, но и о семиозисе как динамике означивания в культуре. Он трактует естественный язык не просто как структуру или некий образец структурности, но шире – как то, что обеспечивает его носителям "интуитивное чувство структурности" – ощущение целого в культуре, окружающем мире. И вообще неструктурное трактуется как важный фактор культурной динамики, а неорганизованное – как условие, обеспечивающее культуре "емкость и динамику, неизвестные более стройным системам". При этом, выступая за науку и за структуру, он никогда не боялся никакой ненаучности и никакой неструктурности и в том, что культуры должны быть "динамичными системами", никогда не сомневался» [Автономова 2009: 221].

С этими утверждениями Н.С.Автономовой нельзя не согласиться. Достаточно только пересмотреть термин «постструктурализм», а в остальном необходимо признать, что анализ особенностей теории Ю.М.Лотмана и ее эволюции, проведенный Н.С.Автономовой, является одним из наиболее глубоких во всей исследовательской литературе по Тартуско-Московской школе.

Не случайно также, что для ряда исследователей – бывших участников Тартуско-Московской школы, стремящихся подвергнуть традицию пересмотру, или людей следующего научного поколения, находящихся в

научном диалоге с наследием школы, – столь актуальной оказывается именно фигура Ю.М.Лотмана.

В качестве иллюстрации во второй главе будет дан обзор взглядов нескольких ученых этого круга. Для примера выбраны научные методы А.Л.Зорина, О.А.Проскурина, Р.Д.Тименчика, а также стратегия отдела теории журнала «Новое литературное обозрение» тех лет, когда этот отдел возглавлял С.Л.Козлов.

ГЛАВА 2.

РЕЦЕПЦИЯ ИДЕЙ ТАРТУСКО-МОСКОВСКОЙ СЕМИОТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В 1990–2000-е ГОДЫ.

Вступление.

В данной главе происходит резкий временной перебив: хронологические рамки первой главы были ограничены 1956–1964 годами, а здесь будет представлено рассмотрение научных методов А.Л.Зорина, О.А.Проскурина, Р.Д.Тименчика и научной стратегии С.Л.Козлова на посту заведующего отделом теории журнала «Новое литературное обозрение», т.е. явлений 1990–2000-х годов. Дело, однако, в том, что все эти методы и стратегии можно в определенном смысле рассматривать как варианты решений тех проблем, которые восходят именно к рассматриваемому периоду и порождены тем утопическим сознанием эпохи Оттепели, о котором говорилось во введении. Необходимо очертить эти проблемы.

I.

В одном принципиальном отношении М.Л.Гаспаров и группа А.Н.Колмогорова существенно отличались от прочих разновидностей российского структурализма. Для них структурный метод был именно методом, более удобным для изучения данного материала, чем другие возможные научные методы; никакой универсализации и абсолютизации метода, которая в той или иной степени характерна и для Московского кружка, и для Ю.М.Лотмана (особенно в поздний период деятельности, при разработке теории семиосферы), и для А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова, у М.Л.Гаспарова и А.Н.Колмогорова не было. В этом они оказались близки к другим гуманитариям (социологам, философам), которые использовали структурный метод, но четко оговаривали его рамки. Характерный пример – статья Ю.А.Левады «Точные методы в социальном исследовании»: «Не подлежит сомнению, что определенные моменты социальной действительности могут описываться при помощи тех же моделей, которые

были разработаны применительно к другим областям знания. Однако столь же несомненно (и даже тавтологично) утверждение о том, что никакая совокупность "внешних" приемов рассмотрения этих явлений не способна не только охватить их всесторонне, но даже проникнуть в их специфику, в их специфическую структуру, системность. <…> можно сделать вывод о возможности различных, дополняющих друг друга направлений абстрактного моделирования общества, каждое из которых способно зафиксировать отдельные стороны, моменты, соотношения этого бесконечно сложного, живого целого» [Левада 1964: 18, 20].

Ю.А.Левада выделяет в качестве точных методик исследования социальной структуры общества – статистические методы; методы системного анализа; кибернетические методы; семиотические методы. Для него это разные методики, работающие на разных уровнях абстракции. Заключает свой манифест он следующими словами: «Таковы некоторые направления в создании "точных" моделей определенных аспектов социальной действительности. Возможны и другие пути. В недалеком будущем можно предвидеть усиление внимания к обсуждению этого круга проблем в среде социологов, не говоря уже об экономистах, историках, математиках. Сколь ни очевидна ограниченность, неполнота, узость любых абстрактных срезов "вечного дерева жизни" – общества, те перспективы, которые они открывают или обещают открыть перед познанием общества (а заглядывая в будущее, и в управлении им), все же оказываются слишком заманчивыми» [Левада 1964: 24].

Интерес к структуралистским и семиотическим идеям возник не у одного Ю.А.Левады. Другой пример – сотрудник Тартуского университета философ Л.Н.Столович в те же годы активно взаимодействовал с Тартуско-Московской школой, причем его интерес к ней объяснялся не только дружбой с Ю.М.Лотманом: «Мой интерес к обсуждению проблематики "вторичных моделирующих систем" и семиотики связан был с изучением возможности моделирования эстетического отношения к художественной

деятельности, выражения ценностной природы красоты через словесно-знаковое обозначение категории прекрасного, с разработкой идеи семиотической структуры эстетической ценности и семиотического аспекта искусства» [Столович 1994: 104, сноска 13]. Однако участником школы Л.Н.Столович, тем не менее, не стал.

Знаменательно в этом отношении позднейшее замечание Ю.И.Левина: «Между прочим, характерно отсутствие философов (появлявшиеся на школах Ю.Левада и Л.Столович не вписались в семиотический круг, а А.Пятигорский шел по индологическому ведомству, как и Л.Мялль), – характерно в плане специфического отношения к философии у нашей интеллектуальной элиты, – что восходит как к традиционной слабости философской культуры в России, так и к упразднению философии в 1922–1923 гг. и заменой ее марксизмом» [Левин 1994: 309].

Это замечание нуждается в некоторых корректировках. Насколько чужда была участникам Тартуско-Московской школы философия – вопрос, требующий отдельного серьезного рассмотрения; применительно к Ю.М.Лотману существует уже достаточно большая литература, в которой высказываются весомые аргументы как за, так и против его интереса к философии и общефилософских предпосылок его собственных теорий. По-видимому, и марксизм не может считаться убедительной причиной взаимоотталкивания филологов-структуралистов и интересующихся структурализмом философов: марксистский субстрат мировоззрения Ю.М.Лотмана[37] не помешал тому, что он стал признанным лидером Тартуско-Московской школы, Ю.А.Леваду и Л.Н.Столовича никто в марксизме не подозревал, а официозный марксизм-ленинизм был равно чужд и тем, и другим. Наконец, попытки противостояния этому взаимоотталкиванию были неоднократны и также взаимны: Ю.А.Левада был

---

[37] Чтобы не углубляться в рассмотрение генезиса взглядов Ю.М.Лотмана и влияния на него марксизма (эти вопросы выходят за рамки данной работы), имеет смысл сослаться на специальные работы М.Л.Гаспарова, посвященные этому вопросу: [Гаспаров 1997; Гаспаров 2003].

приглашен на IV Летнюю школу (1970), а Л.Н.Столович неоднократно бывал и на других Летних школах.

II.

Очевидно, дело в другом – именно в универсализации метода филологами и неприятие этого философами, чувствовавшими, что за этой процедурой скрываются и онтологизация объекта исследования, и онтологизация самого научного направления (превращение его в мировоззренческую «большую парадигму»): «Не смею говорить за Ю.А.Леваду, но я не вписался "в семиотический круг" потому, что отказывался видеть в семиотике универсальный метод решения всех теоретических проблем, будучи убежденным в ее необходимости, но *в системе* различных видов научного знания» [Столович 1994: 102]. Как уже говорилось выше, в параграфе о Ю.М.Лотмане, об онтологизации метода и натурализации объекта в трудах Тартуско-Московской школы писал и А.М.Пятигорский [Пятигорский 1994: 326–327].

Для философов такие стремления к онтологизации и теоретические подмены метода были неприемлемы, а для участников Тартуско-Московской школы 1960-х годов неприемлемо, наоборот, оказывалось то, что им указывали на эти подмены: это подрывало утопическое сознание, которое было почерпнуто из общего потенциала эпохи.

Очевидно, здесь и скрывалась причина той неотрефлексированности категориального аппарата, на которую уже обращалось внимание в настоящей работе. Это, в свою очередь, приводило к методологической двусмысленности, связанной с невозможностью различения позиций внешнего и внутреннего наблюдателя при изучении объекта, о которой в 1990-х годах будет писать А.М.Пятигорский: «Разумеется, мы *семиотически* наблюдали разные культуры ("тексты"!), включая нашу собственную, из *нашей* культуры. Именно это обстоятельство – как весьма точно заметил Исаак Иосифович Ревзин – придавало *романтизм*[38] нашим занятиям. <…>

---

[38] Не является ли этот «романтизм» метафорой утопического сознания?

Но оно же придавало им и двусмысленность. Думаю, что никто не ощущал эту *двусмысленность* так сильно и недвусмысленно, как Владимир Николаевич Топоров. Юрий Михайлович Лотман ее легко и естественно отбрасывал. А Георгий Александрович Лесскис ее просто не признавал как феномен. Но вне зависимости от нашего отношения к ней двусмысленность жила в наших текстах» [Пятигорский 1994: 327–328].

Более подробно об этой проблеме рассуждают представители младшего поколения Тартуско-Московской школы Г.Г.Амелин и И.А.Пильщиков, оценив ее как вариант эпистемологического тупика, в который попали все основные «большие парадигмы» XX века:

«<…> для понимания феноменов социокультурного ряда необходима редукция этих феноменов к иному ряду закономерностей (П.Рикер называл такой метод "редуктивной герменевтикой" <…>). XX век предложил в качестве этих "иных" порождающих рядов социальные идеологии (марксизм), структуры бессознательного (психоанализ) и языки культуры (семиотика). Общая для всех указанных концепций идея заключается в том, что человеческая деятельность, представляющаяся тем, кто действует, независимой и сознательной, на самом деле детерминируется некоторыми скрытыми, вне-сознательными структурами. Исследователь же должен выйти на внешнюю точку зрения по отношению к анализируемой деятельности, для того чтобы на уровне метаописания рационализировать неосознаваемое на уровне объекта. То есть то, что на уровне объекта было рациональным, на уровне описания становится квазирациональным, а то, что на уровне объекта было внерациональным, становится рационализируемым на метауровне. <…> Отметим, что методологические трудности, возникающие на пути семиотики, аналогичны трудностям марксизма и фрейдизма. Дело в том, что выход в метапозицию – недостижимо идеальная ситуация, поскольку фактически наблюдатель включен в систему объекта (социальная, психическая или культурная реальность) <…>. Таким же образом, когда при семиотическом описании мы "реконструируем" язык, на котором написан

текст, постулируя множественность интерпретаций этого текста (в свою очередь зависящую от множественности языков реципиентов), мы тем самым уже даем *интерпретацию* текста, обусловленную нашим языком описания <…>. Таким образом, описывая язык текста, мы рискуем *приписать* тексту определенный язык, т.е., произвести "перенос значений из языка *описания* в язык-объект" <…>. Отметим лишь, что задача структурно-семиотического описания культуры *не могла быть разрешена теми средствами, которыми она была поставлена.* Все это, если можно так выразиться, вынуждает семиотику к авторефлексии и дальнейшему развитию» [Амелин, Пильщиков 1993: 81–82].

Правда, Г.Г.Амелин и И.А.Пильщиков воспринимают именно начальный период развития российского структурализма как тот момент, который позволил бы (с учетом необходимого осмысления этим направлением редукции своего объекта) критически пересмотреть категориальный аппарат и выйти за пределы собственной культуры (т.е. достичь точки объективного наблюдателя):

«<…> на определенной стадии формулирования своей теории русская семиотика должна была занять антифилософскую позицию, выйти из-под влияния философского телеологизирования <…>. Односторонний редукционистский пафос структурализма сослужил русской семиотике хорошую службу. Осознание знаковости культуры и множественности ее языков, текстовой обусловленности исторического знания означало конец историософствования и зарождения критической рефлексии. <…> Семиотический подход "расщеплял" неконвенциональный, религиозно-символический тип русской ментальности, релятивизируя абсолютные ценности и "русские идеи". Тем самым семиотика позволила выйти за границы старого культурного самосознания <…>. Переход русской семиотики к семиотике культуры (и истории) знаменовал превращение ее в модернизированный тип русского историософствования <…> и утрату той

независимости от русской культуры, которая составляла едва ли не главное достижение семиотической мысли» [Амелин, Пильщиков 1993: 83].

Если учесть то, что уже в Московском кружке Структурализм представлял собой «большую парадигму», то с этим утверждением Г.Г.Амелина и И.А.Пильщикова будет трудно согласиться. В трудах лидера направления В.Н.Топорова уже в то время стал складываться определенный тип историософствования, хотя и опирающийся скорее не на «русскую идею», а на буддийское мировидение[39].

Западная исследовательница оценивает сложившуюся в методологии Тартуско-Московской школы двусмысленность еще более жестко: «<…> являются ли структура и структурированность неотъемлемыми качествами реальных объектов, или они, по крайней мере отчасти, – качества, навязанные воспринимающим сознанием? Лотман не проводит различия между субъективным и объективным знанием, и действительно, проблема такого разграничения не появляется в его монистической эпистемологии. <…> Утверждения Лотмана не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты: в строгом смысле, они не научны, хотя признать это не значит отрицать то, что в них содержится известная доля правды» [Shukman 1977a: 50]. Можно спорить о том, действительно ли теоретические рассуждения Тартуско-Московской школы к середине 1970-х годов обнаружили недоказуемость и ненаучность, однако в любом случае неотрефлексированность и структуралистского, и семиотического категориального аппарата оказывается налицо.

III.

Двусмысленность исподволь вела к неудовлетворенности и подрывала утопическое сознание. Возможно, поэтому Московский кружок так легко отказался от своей «большой парадигмы» после появления Ю.М.Лотмана, поэтому же Ю.М.Лотман, в свою очередь, попытался сформировать новую

---

[39] См. об этом также в параграфе о Московском кружке.

«большую парадигму» Семиотики, формулируя теорию семиосферы[40]. Вероятно, с этим же связано и то, что в 1990-е годы ряд бывших участников Тартуско-Московской школы, а также тех, кто находился в активном научном диалоге с ними, восприняли смерть Ю.М.Лотмана не только как конец существования школы, но и как закат структурализма в целом – и как течения, и как научного метода. Однако это не означало отрицания заслуг или полного отхода от структурных методик анализа. Скорее можно утверждать, что сформировался взгляд на структурализм как на наследие, которое может быть по-прежнему актуально, если только использовать его с определенными корректировками и трансформациями. Некоторые примеры выработки таких научных стратегий, основанных на творческом переосмыслении структурализма, представлены во второй главе.

Безусловно, этих стратегий гораздо больше, чем четыре, и только лишь к А.Л.Зорину, С.Л.Козлову, О.А.Проскурину и Р.Д.Тименчику методологические искания не сводятся. Можно привести большой ряд других имен, в той или иной степени соотносимых с Тартуско-Московской школой. Это, например, Б.М.Гаспаров, В.М.Живов, А.В.Лавров, Г.А.Левинтон, А.Л.Осповат и др. – так же, как и Р.Д.Тименчик, младшие участники школы, предложившие каждый свое понимание путей развития и трансформирования ее методик. Также это Н.С.Автономова, С.Н.Зенкин, А.М.Песков, И.П.Смирнов, А.М.Эткинд и др. – исследователи (как и А.Л.Зорин, С.Л.Козлов, О.А.Проскурин) следующего научного поколения, которые не входили непосредственно в число участников школы, но разделяли многие ее идеи, публиковались в ее изданиях, участвовали в ее конференциях, а свои научные воззрения формировали на основе ее постулатов, отталкиваясь от них, как от собственной традиции. С.Н.Зенкин также одно время был, как и С.Л.Козлов, заведующим отделом теории в «Новом литературном обозрении» и проводил схожую с ним стратегию. Научные концепции каждого из вышеперечисленных исследователей,

---

[40] См. об этом в параграфе о Ю.М.Лотмане.

разумеется, в своем роде показательны и заслуживают подробного рассмотрения. Поэтому выбор в данном случае именно А.Л.Зорина, С.Л.Козлова, О.А.Проскурина и Р.Д.Тименчика обусловлен тем, что это только предварительная попытка исследования столь широкого и многообразного материала – эксперимент, проведенный на ограниченном количестве примеров именно в силу своей экспериментальности.

Кроме того, показательна актуальность концептуального наследия российского структурализма и семиотики для разных периодов и областей российской филологии: А.Л.Зорин – исследователь литературы и культуры XVIII – начала XIX вв.; О.А.Проскурин – специалист по пушкинскому времени; Р.Д.Тименчик занимается историей литературы XX в. (преимущественно Серебряным веком), С.Л.Козлов – теоретик.

§ 1. **Некоторые особенности научного метода Р.Д.Тименчика.**

Чтобы описать научный метод Р.Д.Тименчика 1990–2000-х годов как целостный феномен, проще всего обратиться к его книге «Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века» [Тименчик 2008b], которая, по сути, является сборником избранных трудов исследователя за данный период. Хотя, конечно, только лишь к этой книге дело не сводится.

I.

Р.Д.Тименчик в своих работах демонстрирует, что оптимальной формой построения историко-литературного текста является комментарий, причем комментарий – в идеале – всеохватный, объемлющий всю эпоху вплоть до мельчайших ее деталей: «Восстановление утраченного понимания – это и есть должностная повинность историка литературы» [Тименчик 2008b: 26]. Наиболее близким к исследованиям Тименчика по типу жанром оказывается энциклопедия (о чем применительно к книге «Анна Ахматова в 1960-е годы» писал А.В.Лавров: «<…> книга Романа Тименчика <…> являет собой опыт подлинной, в реальность воплотившейся ахматовской энциклопедии. <…> Правда, эта энциклопедия не выстроена по ранжиру, она "гуляет сама по себе", управляемая лишь ходом авторской мысли и содержанием востребованного документального материала» [Лавров 2006: 122]).

Поэтому история литературы, по Р.Д.Тименчику, должна представлять из себя отображение всех реалий данной эпохи и судеб всех ее деятелей, даже самых малозначительных, попытка не забыть по возможности никого: «Подвергаясь не только методологической анафеме, но и добродушным смешкам друзей, я хранил верность "малым сим", <…> тому муравьиному шоссе, которое представляет из себя литературный процесс» [Тименчик 2008b: 17]; «Исполнению этой почетной, на мой взгляд, обязанности историка литературы – спасти рядового имярека – я и стараюсь учить своих студентов и аспирантов <…>» [Тименчик 2008b: 24].

Однако это не означает построения истории литературы без «генералов» (используя выражение Ю.Н.Тынянова): для Р.Д.Тименчика равно важны и те, и другие. Фигурально выражаясь, это является культурным воскрешением, спасением из небытия всех, кого только возможно. У Р.Д.Тименчика есть статья, приуроченная к 60-летию А.Л.Осповата (род. 11.04.1948), где дается калейдоскоп событий, происходивших в СССР и в эмиграции в районе даты рождения юбиляра; статья называется «Воскрешенье одного воскресенья, или Как писать историю литературы». Размышлений методологического характера, в отличие от «Что вдруг», она не содержит, однако лишний раз демонстрирует структуру работы Р.Д.Тименчика с историческим материалом, принципы отбора и соположения исторических фактов: «В конце прошлого и начале нынешнего века было сделано несколько попыток "погружения" в ограниченные временные отрезки XX века. Одной из наиболее заметных этого рода попыток была книга Ханса Ульриха Гумбрехта "В 1926-м". Автор ставил себе целью разглядеть детали эпохи, как если бы он ничего не знал о том, что было после. Нашему подходу, напротив, ведомы начала и концы. Мы выбрали год 1948-й <…>. И мы бы хотели реконструировать духовную погоду одного дня этого года» [Тименчик 2008а: 611].

История литературного процесса, по Р.Д.Тименчику, не ограничивается историей литераторов, но предстает также как история читателей: «История литературы пишется обычно с точки зрения писателей, принимая во внимание стоявшие перед ними литературные задачи и подлежащие преодолению трудности. Но она может быть написана и с точки зрения читателей. Тогда предстоит выбрать доминантную для данного описания группу читателей <…>. Читателей можно классифицировать по-разному, но существенно то, что принадлежность к той или иной группе будет перестраивать смысловую иерархию принимаемых ими сообщений, перекраивать карту текста» [Тименчик 1998: 199]. Однако в отличие от, скажем, рецептивной эстетики Х.Р.Яусса концепция Р.Д.Тименчика

предполагает не только общий срез читательских восприятий той или иной эпохи, но и воссоздание образа каждого читателя в его уникальной конкретности. В идеале это предстает как воссоздание образа любого деятеля или просто свидетеля исследуемой культуры. Впрочем, свидетель в итоге тоже оказывается деятелем: в статьях «Читатели серебряного века» [Тименчик 2008b: 35–49] и «Читатели Гумилева» [Тименчик 2008b: 362–384] каждый из рассмотренных персонажей сам был (забытым) литератором или литературным критиком. По всей видимости, такой взгляд может пониматься (помимо прочего) и как своеобразное перенесение в жанр историко-литературного комментария семиотической теории Ю.М.Лотмана[41].

Реконструированный всецело пласт культуры представляет возможность для гипотетического постижения текста как бы глазами «идеального читателя», т.е. автора. Представляется, что это – по крайней мере, в идеале – возможно: «Здесь мы говорим только об историко-литературном комментарии академического типа. Его цель – предоставить ключи для "правильного" понимания текста. Под последним мы подразумеваем прочтение текста как бы глазами его "идеального" исторического читателя (то есть, в конечном итоге, самого автора). Отсюда – первостепенная роль свидетельств исторической рецепции текста» [Тименчик 2008b: 587]. (Фактически здесь происходит то, что можно назвать онтологизацией метода.)

Такая тенденция приводит к следующему: в работах Р.Д.Тименчика скапливается столько «дополнительной» (по отношению к основному сюжету, но не к общему замыслу) информации, что объем примечаний иногда становится больше объема главной части работы. Например, статья «"Бродячая собака": Воспоминания Бэлы Полежаевой-Барской» занимает 36 стр., сноски к ней – 76 стр. [Тименчик 2008b: 147–258]. Наиболее впечатляюще выглядит аппарат примечаний в книге «Анна Ахматова в 1960-

---

[41] О значимости для Ю.М.Лотмана категории уникальной конкретности анализируемого объекта см. в параграфе о Ю.М.Лотмане.

е годы» – почти две трети объема [Тименчик 2005: 289–734]. Вообще этот труд можно рассматривать как своеобразный эксперимент, где многие отличительные черты научного метода Р.Д.Тименчика намеренно сгущены и заострены.

На первый взгляд, этому противоречит следующее принципиальное положение Р.Д.Тименчика: сноска – это насильственное вмешательство автора в интимный, по сути, процесс чтения; поэтому она не должна быть проставлена, если автор не уверен в ее насущной необходимости для воссоздания более полного понимания текста [Тименчик 2008b: 26, 589–591; подробнее см.: Тименчик 1997: 86–89]. Возникающее возражение, что бо́льшую часть информации из сносок для облегчения читательского восприятия можно было бы перенести в основной текст, имеет смысл только тогда, когда текст воспринимается как линейный. Однако, по всей видимости, более адекватно воспринимать построение работ Р.Д.Тименчика как гипертекст [Майофис 2006: 121]. Другая возможная аналогия – семиосфера (так, как она предстает в работах позднего Ю.М.Лотмана): структура текста научного исследования (пусть даже это текст, посвященный какому-либо частному явлению) имитирует многоуровневую стереоскопическую структуру всей сферы культуры. Ср.: «Всю необозримую совокупность сведений, сопоставлений и размышлений, восходящих к сотням, если не к тысячам, источников, предлагается воспринимать как "маргиналии к блокнотам ушедшего поэта" (с. 286), но эти "маргиналии" автора, обеспеченные беспредельным запасом накопленных им знаний и артистичным умением выстраивать плоды своих изысканий в причинно-следственные или ассоциативные связи, в результате претворяются в стереоскопическую полноту целостной многофигурной картины» [Лавров 2006: 122].

Можно было бы предположить, что обилие сносок преследует своего рода «педагогическую» цель – ввести неискушенного читателя сразу во весь круг проблем. Однако тексты Р.Д.Тименчика предполагают уже

определенный уровень эрудированности читающего; как заметил А.В.Лавров применительно к «Анне Ахматовой в 1960-е годы»: «<…> при всем обилии разъяснений, уточнений и дополнений, цепляющихся одно за другое, определенная доля "эзотеричности" – характерная черта всего стиля изложения» [Лавров 2006: 123]. Ср.: «Конечно, текст, написанный на профессиональном жаргоне, переполненный профессиональными отсылками и снабженный критическим аппаратом, от которого дух захватывает даже у студентов-старшекурсников, не по силам читателю с улицы. Он адресован коллеге-профессионалу, он – "для тех, кто понимает", а вовсе не для тех, кто просто "интересуется"» [Хапаева 2006: 149]. Д.Р.Хапаева трактует подобный подход как «позитивистский ренессанс», возникший в эпоху кризиса «больших парадигм» и являющийся реакцией на т.н. «интеллектуальное письмо», которое стало преобладать в научной сфере, – научные концепции, описанные языком художественной литературы, рассчитанные на непосредственный диалог с читателем в обход академических норм [Хапаева 2006: 147–149]. Хотя замечание о поиске выхода из кризиса «больших парадигм» представляется совершенно верным, однако в отношении подхода Р.Д.Тименчика дело, по-видимому, обстоит несколько сложнее – см. далее.

II.

По Р.Д.Тименчику, у ученого, практикующего подобный – по факту демократический – метод исследования, должна сохраняться иерархия ценностей, чтобы не искажалась картина эпохи. Это относится и к оценке индивидуальных авторских дарований: «И боясь, что канонизация выйдет из всех берегов, я даже нет-нет да стопорил своих студентов, выросших в эпоху пошатнувшихся иерархий и победоносного эгалитаризма, когда они слишком, на мой взгляд, буквально исповедовали принцип "дойти до каждого" из сочинителей утраченных времен» [Тименчик 2008b: 18]. На уровне стиля на подобный принцип работает авторская ирония (см., например: [Тименчик 2008b: 96, 102–104] и т.д.); прямые авторские нелицеприятные оценки (например: [Тименчик 2008b: 137–138]); не менее

ироничные замечания современников, приводимые в паре с цитатами, основными для сюжета статьи (например: [Тименчик 2008b: 118–119]; четко продуманное соположение цитат – один из основных принципов построения текста в комментариях к «Анне Ахматовой в 1960-е годы»).

Можно считать, что до наступления «эпохи пошатнувшихся иерархий» Р.Д.Тименчик, наоборот, пытался оправдать воскрешение рядовых литераторов тем, что и в их творчестве подчас «звенит <…> струна подлинной поэзии» [Тименчик 1989: 13]. Однако на деле наряду с такой тенденцией критические оценки можно найти и в работах Р.Д.Тименчика 1980-х годов, когда иерархии еще так очевидно не «шатались», ср., например: «Литературный уровень в общем был снижен, симптомом этого снижения представляется успех Н.Я.Агнивцева в "Привале". Стихи и песенки Агнивцева были явным "вторым сортом" после виртуозных стилизаций Кузмина, Потемкина или Тэффи» [Конечный et al. 1989: 99].

Думается, объяснение подобной оценочности можно дать, если проанализировать стиль Р.Д.Тименчика. Во-первых, для него характерна – при насыщенности фактурой – фрагментарность повествования (причем, судя по некоторым намекам автора [Тименчик 2008b: 113], такое свойство введено в структуру повествования намеренно). Читателю дается как бы набор элементов, из которых сложить единый «пазл» – картину жизни Серебряного века – предстоит самостоятельно. Таким образом, можно сказать, что принцип построения историко-литературной работы как всеобъемлющего комментария с «провалами» на границах между сносками выдерживается у Р.Д.Тименчика и на уровне стилистики.

Во-вторых, помимо оценочности в текстах Р.Д.Тименчика можно найти довольно большой спектр средств эстетической выразительности, больше характерный для литературной критики и собственно литературы. Например (из «Анны Ахматовой в 1960-е годы»): «"Грядущей смерти годовщину", 5 марта 1953 года, когда поэты корпели над так и не востребованным социальным заказом, А.А. <…> встретила кардиологической больной <…>,

матерью заключенного, разрабатываемым объектом и – с устного разрешения ЦК – "старушкой-переводчицей" – (как в шуточных стихах Мандельштама о Марии Петровых). А также: патентованной любимицей ура-космополитов, последышей буржуазного эстетства, "иуд-зубоскальников", всенародно признанным изгоем, когда в новогоднюю ночь молодому бандарлогу могло прийти в голову позвонить ей и спросить: "Ты жива еще, моя старушка?", а то и вовсе незначительной фигурой. Многим современникам ее были навсегда вписаны в объективки (некоторым – в обвинительные заключения, некоторым – посмертно) их проступки в эпоху борьбы с ахматовщиной – кто хвалил, кто испытывал позорное влияние, кто сомневался, кто отмолчался, двурушник. Многие сохранили память о своем бессилии в ждановские дни» [Тименчик 2005: 13]. К этому абзацу дано 19 сносок.

Думается, это принципиальный момент: если гуманитарный исследовательский текст в целом своей структурой пытается воссоздать строение описываемой культуры, то текст филологический имитирует литературный. Ср. относительно «Анны Ахматовой в 1960-е годы»: «Описательность и фактография не препятствуют авторским наблюдениям, замечаниям, ироническим репликам. К тому же исследователь неотделим в этой книге от литератора» [Азадовский 2006: 127]; «Прием прозы Тименчика – затруднение, в этом смысле эта проза сродни искусству. "Анна Ахматова в 1960-е годы" – "Улисс" филологии» [Цивьян 2006: 130]. Кроме того, можно вспомнить знаменитое высказывание Р.Д.Тименчика «Если наша жизнь не текст, то что же она такое?», которое произвело столь сильное впечатление на М.Л.Гаспарова.

Разумеется, из факта признания жизни текстом не следует с необходимостью, что тексты различного типа изоморфны по структуре, однако, по всей видимости, в мировоззрении Р.Д.Тименчика до определенной степени это именно так. Не случайно значительная часть его исследований находится на стыке различных гуманитарных дисциплин:

филологии, театроведения, музыковедения и т.д. Не случайны также брошенные будто бы вскользь замечания о том, насколько опасно прописывать жизнь по канонам искусства, например: «Судьба Князева, недолгий его расцвет и ранняя гибель тем-то и определились, что в жизнь его вошел изощреннейший художник и стал формировать эту жизнь по законам искусства. "Веселой дружбы хрупкий плен", как писал Кузмин, превратился для Князева в не для всякого посильное пребывание на острой и жестокой грани между жизненным существованием и темной магией обманчиво-простых слов, пришедших из самой глубины европейской культуры. <…> Кузмин сам чувствовал, что живописует "подсказанный певцами знакомый образ", и понимал, как опасна эта игра – включиться в сюжет, где вспышка счастья в зачине по неумолимой логике искусства требует трагедии в конце <…>» [Тименчик 1984: 114].

Возможно, с отношением к филологическому тексту как к произведению литературному связан сам феномен подробнейшего комментария к собственным текстам, удививший одного из рецензентов «Анны Ахматовой в 1960-е годы», А.М.Эткинда: «Семь глав этой книги надо читать как одно затянувшееся предисловие; ее реальное содержание – комментарии. На этот раз они написаны к собственному тексту, что совсем иронично. Нарушая авторскую волю, искусство комментария расшифровывает намеки и восстанавливает контексты. Зачем же делать это по отношению к своему тексту, для которого сам выбираешь примеры и повороты и, соответственно, только что сказал ровно то, что хотел?» [Эткинд 2006: 146]. Сюда же относятся и «художественные» названия подзаголовков в этой книге, имитирующие авторские предуведомления к текстам европейской литературы доромантического периода, однако ничего не говорящие о сути глав, ср. с самого начала: «Анкета. – Маугли. – Климат и погода» и т.д. [Тименчик 2005: 11]. Это вызвало недоумение у рецензентов: «Но чем дальше и дольше двигаешься в книге <…> от оглавления (очень неудачного, поскольку "поэтичного" – ну что мне может обещать главка

"Впечатанное в кадр"? "Клубок жизни разматывается в обратном направлении"? и все тому подобно, к сожалению) <…>» [Котрелев 2006: 142]; «Другие составляют энциклопедии; он предпочел не алфавитный порядок, а хронологический, но почему-то снабдил его веселенькими заглавиями, как будто это поп-история» [Эткинд 2006: 145].

Пользуясь терминологией Д.Р.Хапаевой, можно сказать, что работы Р.Д.Тименчика – не столько позитивистский ренессанс, сколько интеллектуальное письмо, имитирующее стратегию неопозитивизма.

Конечной целью такой стратегии является, по-видимому, достижение абсолютного проникновения в изучаемый текст и изучаемую эпоху с помощью онтологизации метода (в данном случае – комментария), его изоморфности объекту исследования. Сам по себе метод не универсален, но универсален принцип изоморфности. Примечательно, однако, что при этом не наблюдается попыток построения «большой парадигмы» – если, конечно, не считать таковой стремление к тотальному единению с объектом и, тем самым, снятия проблемы субъективного и объективного наблюдателя.

III.

Интересен еще один момент, связанный с читательским восприятием текстов Р.Д.Тименчика. «Утяжеляющим» фактором при чтении является не только обилие сносок, но и своеобразная структура предложений. Нередко наблюдается следующее: дается общий тезис и ряд его конкретных реализаций с примерами; примеры (в том числе поэтические) встраиваются внутрь предложения, как подпункты, чередуясь с продолжающимся перечислением конкретных тезисов. Все это идет через запятую, предложение в итоге может занимать две-три страницы, для целостного восприятия фактически требуя повторного чтения. Ср. применительно к «Анне Ахматовой в 1960-е годы»: «Прилежный читатель принужден читать текст основного изложения как минимум дважды – до и после освоения примечаний и экскурсов, – чтобы удержать в сознании основную нить авторской мысли» [Лавров 2006: 124]; «Читать эту книгу – все равно, что

ходить по глубокому снегу. Делаешь шаг – и сразу проваливаешься в сноску – не справочную, а сюжетную, не служебную, а самостоятельную, не подчиненную линейному сюжету, а перпендикулярную его движению. Вытащишь ногу – тут новая сноска, и уже не помнишь, с чего начиналось предложение» [Цивьян 2006: 130].

Это явление можно сопоставить с идеей М.Л.Гаспарова о двух способах чтения: первочтение (динамическое восприятие без априорных ожиданий) и перечтение: «Текст уже знако́м, т.е. предстоит сознанию симультанно – конечно, не в подробностях, а лишь в основных чертах. Каждое воспринимаемое слово воспринимается в его связях не только с прочитанным, но и с еще непрочитанным, ориентируясь на узловые моменты дальнейшего текста. Чтение движется не по словам, а по целым словесным блокам, различая опорные "сильные места" и промежуточные "слабые места" текста. Это не столько познавание, сколько узнавание» [Гаспаров 1988/1997: 461]. По М.Л.Гаспарову, сукцессивный подход (т.е. от первочтения) – «подход творческий, преображающий материал (творческий для поэта, сотворческий для читателя)» [Гаспаров 1988/1997: 467]; симультанный же подход (от перечтения) – «это подход исследовательский, со стороны, строго соблюдающий грань между субъектом и объектом исследования» [Гаспаров 1988/1997: 467]. В литературе поэтика первочтения была характерна, в частности, для футуристов, а «поэтика перечтения напоминает практику акмеизма с его "радостью узнаванья"» [Гаспаров 1988/1997: 461]. У Р.Д.Тименчика поэтика перечтения в некотором смысле возведена в квадрат: окончание предложения требует возвращения к его началу и повторного перечитывания, которое, в свою очередь, утяжеляется введением многочисленных сносок, после которых предложение необходимо прочитывать в третий раз – с учетом накопленной в предыдущие два раза информации. Это и требует симультанного охвата всей информации, т.е., по М.Л.Гаспарову, научного восприятия, и одновременно является своеобразной

моделью акмеистского текста, который является главным объектом изучения Р.Д.Тименчика на протяжении всей его жизни.

Ср. рассуждения Е.Михайлик о том, что организация книги «Анна Ахматова в 1960-е годы» является исследованием через уподобление «Поэме без героя» – схожими являются как особенности композиции в целом, так и «даже конкретные риторические приемы, имеющие у Ахматовой индивидуальную адресацию» [Михайлик 2006: 163]. Е.Михайлик противопоставляет комментарии в книге как текст научный и основную часть как текст мемуарный: «Комментарии и экскурсы позволяют вынести вовсе "роль" историографа, превращая основное повествование в текст, написанный очевидцем для очевидцев (и, заметим, позволяющий в определенной мере превратить читателей в очевидцев, вне зависимости от степени их личной соотнесенности с данным историческим периодом)» [Михайлик 2006: 159]. Ср. также: «Характерно, что голос самого исследователя, его риторические приемы – намеки, умолчания (в том числе и, заметим, умолчания о собственном методе) – могут ассоциироваться с ахматовскими способами письма. Признавая себя не только "историком", но и "современником", "свидетелем" тех самых "шестидесятых", которые реконструируются в монографии, Тименчик, разумеется, пишет и о специфической риторике этих лет – "эзоповом языке" <…>. Такое совпадение с "героями" собственной книги – и с "поэтом", и со "временем" – черта скорее артистическая, чем академическая» [Каспэ 2006: 169–170].

§ 2. **Некоторые особенности научного метода А.Л.Зорина.**

I.

После выхода книги А.Л.Зорина «Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века» [Зорин 2001] рецензентами было отмечено явление, до сих пор не очень распространенное в отечественной гуманитарной сфере. В отличие от большинства филологических и исторических исследований, в которых практически не уделяется места для рефлексии над представленными в тексте методиками анализа, А.Л.Зорин во введении объявляет использование в своем труде методологии американского антрополога Клиффорда Гирца. Кроме того, выбор темы исследования – анализ государственной идеологии на стыке двух наук, филологии и истории, – также был признан новаторским для России. Для подробного обсуждения книги журналом «Ab Imperio» был устроен специальный виртуальный «круглый стол», опубликованный в № 1 за 2002 год, в рубрике «Forum AI». Однако участники «круглого стола» стали обсуждать в первую очередь именно исторический аспект книги (какие факты истории XVIII – первой трети XIX века были А.Л.Зориным упущены, чего не хватает при разборе конкретных событий и т.д.), а методологический аспект скорее констатировали как факт. В данном параграфе не ставится задача опровергать замечания рецензентов; предлагается лишь попытка взглянуть на исследование А.Л.Зорина с другого ракурса: не то, насколько подход А.Л.Зорина можно назвать действительно историческим, а то, почему при анализе именно этого материала он пользуется именно такой теорией.

Ср. в этой связи замечание редакции «Ab Imperio»: «Вначале мы спрашивали, понравилась ли им (специалистам по XVIII веку. – *Н.П.*) книга, и, как правило, получали ответы "книга замечательная", "очень интересная", "новаторская", "необходимая". <…> Затем следовал второй вопрос: считаете ли Вы исследование Зорина "историческим", "конвертируется" ли понимание идеологии, изложенное в книге, в метод исторического исследования? И тут

реакция большинства опрошенных была негативной. <…> интуитивно ощущалась необходимость проведения границы между "историческим" подходом к изучению идеологии и подходом Зорина» [Редакция AI 2002: 484].

II.

Прежде всего, следует обратиться к Клиффорду Гирцу. Его метод – так называемое «насыщенное описание» («thick description»), в котором для российского исследователя наиболее интересным представляется отказ от генерализирующих «больших парадигм», сквозь призму которых рассматривается культура в целом (как, например, системы Карла Маркса и Клода Леви-Стросса). Вместо этого предлагается семиотический анализ частных ее проявлений (и уже через них индуктивно выводится понимание всей системы данной культуры): «Анализ культуры состоит (или должен состоять) в угадывании значений, в оценивании догадок и в выведении поясняющих заключений из наиболее удачных догадок, а не в открывании Континента Смысла и картографировании его бестелесного ландшафта. <…> Цель состоит в том, чтобы извлечь большие выводы из маленьких, но сплетенных в очень плотную ткань фактов, подкрепить общие рассуждения о роли культуры в процессе оформления коллективной жизни посредством их увязывания со сложной спецификой этих фактов» [Гирц 1973/2004: 28, 37].

Один из участников виртуального «круглого стола», Г.Обатнин, заинтересовавшись, где этот метод представлен в «Кормя двуглавого орла…», привел единственный пример – из введения, где с помощью «насыщенного описания» анализируются события, произошедшие в России в недавнем прошлом: путч в августе 1991-го, кризис в октябре 1993-го и празднование 850-летия Москвы в сентябре 1997 годов [Зорин 2001: 20–25; см. об этом: Обатнин 2002: 492–493]. Другой исследователь, А.М.Эткинд, высказал предположение, что в основном корпусе книги А.Л.Зорин использует не гирцевский подход, а смежную с ним методику американского

нового историзма[42] [Эткинд 2002: 505–507]. Большинство же участников «круглого стола» вообще не стали сопоставлять К.Гирца и А.Л.Зорина. В позднейшем исследовании методологии Зорина социолог Д.Р.Хапаева выразила по этому поводу весьма радикальное мнение: «<…> ни взгляды Гирца, ни теоретические проблемы, связанные с понятием "идеология", больше не используются Зориным в тексте книги. <…> дальше "теоретической прихожей" Зорин так и не пустил своего мэтра, оставив его на кратких страницах теоретического предисловия потому, что выбор кумира оказался недоразумением» [Хапаева 2005: 182–183].

В итоге один из наиболее авторитетных участников «Forum AI», историк А.Б.Каменский о подходе Зорина сказал, в частности, следующее: «<…> Зорин почти не рассматривает формирование идеологии, которое он признает составной частью модернизации, как процесс, т.е. в динамике, а саму идеологию – как систему, представляющую собой совокупность взаимосвязанных идеологем. В поле его зрения лишь отдельные эпизоды этого процесса и лишь отдельные идеологические конструкции <…>. Причем, как мне кажется, требовалось, может быть, даже не столько непременно исследовать все иные идеологемы того времени, сколько показать их во взаимодействии, т.е. в более широком идеологическом контексте. Ведь не может не возникнуть элементарный вопрос: а все ли идеологические конструкции формировались в это время именно таким образом – через литературу?» [Каменский 2002: 540].

III.

Представляется все же, что А.Л.Зорин описал данные явления в своей работе – просто чтобы выявить их, необходимо встать на иную теоретико-методологическую точку отсчета. Для этого необходимо обратиться к статье К.Гирца «Идеология как культурная система» (1964), которую А.Л.Зорин опубликовал в № 29 «Нового литературного обозрения» (1998) и на которую

[42] О новом историзме в России см. подробнее в параграфе о С.Л.Козлове.

сослался во введении к «Кормя двуглавого орла…». Если до К.Гирца символы и метафоры в идеологических программах рассматривались лишь как внешние украшения, призванные просто завуалировать настоящие цели создателей этих программ, то К.Гирц утверждает: в них и заключается основа идеологий. Человек, сталкиваясь с незнакомой ему реальностью, пытается перевести полученный опыт на язык привычных ему моделей и символов. Так образуются новые культурные системы – идеологии и религии, – заново структурирующие мир [Гирц 1973/2004: 247–250].

Метафоры, изначально используемые как некие условные картинки, опосредующие первоначальное познание людьми мира, позднее превращаются в самоценные мировоззренческие шаблоны и подчиняют себе сознание социума (фактически становясь архетипами), заставляют видеть мир в соответствии с их собственной структурой. К.Гирц и А.Л.Зорин рассматривают, как это происходит; только если К.Гирц анализирует по преимуществу процесс зарождения идеологий (в молодых государствах – Марокко, Бали), то А.Л.Зорин на материале российских идеологем имеет возможность анализировать и результаты этого процесса.

В России в конце XVIII – первой трети XIX века, по А.Л.Зорину, идет активная выработка основополагающих для складывающегося нового мировоззрения идеологем. В «Кормя двуглавого орла…» показано формирование основного корпуса метафор, которые здесь действительно предстают отдельными, не связанными друг с другом явлениями, но позже – за пределами книги – дадут цельную «систему <…> взаимосвязанных идеологем». (Ср. замечания О.Цапиной на «круглом столе» о том, что поэзия в конце XVIII века еще не обладала влиянием, необходимым для превращения поэтических метафор в идеологемы, что национально-консервативная оппозиция во времена А.С.Шишкова еще только зарождалась, а рассмотрение ее А.Л.Зориным как готовой «оппозиции» – анахронизм, и т.д. [Цапина 2002: 473, 477]. О функции анахронизмов в терминологии Зорина см. ниже.)

Наиболее репрезентативной сферой производства идеологем становится литература. Собственно, об этом говорит А.Л.Зорин в пассаже, ставшем одним из наиболее известных в книге (в том числе благодаря тому, что основной образ из него вынесен в заглавие всей работы): «Поэтический язык может конструировать необходимые метафоры в наиболее чистом виде. Именно поэтому искусство, и в первую очередь литература, приобретает возможность служить своего рода универсальным депозитарием идеологических смыслов и мерилом их практической реализованности. Можно сказать, что идеология обладает способностью конвертироваться в столь многие и столь разнообразные проявления социального бытия, потому что она располагает золотым стандартом, сохраненным в поэтическом языке. По известной пословице, соловья баснями не кормят. Зато сами соловьи с успехом кормят баснями орлов, дву- и одноглавых, львов, драконов и других геральдических чудищ. <…> И если практическая политика проверяет поэзию на осуществимость, то поэзия политику – на емкость и выразительность соответствующих метафор» [Зорин 2001: 28].

В конце концов, именно литература оказывается наиболее долговечной носительницей идеологем, благодаря чему в XX веке, несмотря на две кардинальные смены государственных режимов, идеологемы, рассматриваемые А.Л.Зориным, не исчезают из культуры и менталитета. Анализ результатов этого явления – одна из основных тем заметок, которые А.Л.Зорин публиковал в журнале «Неприкосновенный запас» с момента основания (1998) до конца 2002 года (№№ 1–26); в 2001–2002 годах (№№ 15–26) он вел в журнале специальную рубрику с характерным названием «Мифы и символы»; в № 26 (шестой номер за 2002 год) представил статью «Окончание разговора», а в 2003 году выпустил сборник статей «Где сидит фазан…: Очерки последних лет» [Зорин 2003], подводящий (предварительный?) итог его разысканиям, в том числе в области исследования идеологий. Связь между двумя книгами очевидна: достаточно сравнить, к примеру, очерк «Где сидит фазан?», давший название сборнику

[Зорин 2003: 169–179], с главой VI «Враг народа» из «Кормя двуглавого орла…». В главе рассказывается, как формируется в России и Европе в конце XVIII века идеологема всемирного масонского заговора, в очерке – как она всплывает уже в 1999 году в речи В.В.Жириновского.

Сопоставление двух периодов истории России – рубежа XVIII–XIX и конца XX веков – и изучение их с помощью единой методики представляется А.Л.Зорину тем более оправданным, что это два типологически сходных слома культурных эпох. Во введении к «Кормя двуглавого орла…», названном «Литература и идеология», А.Л.Зорин замечает: «Процессы, которые Гирцу довелось наблюдать в третьем мире, начались в конце 80-х – начале 90-х гг. на территории СССР и продолжились в странах, возникших после его распада. Представляется, что предложенные в статье "Идеология как культурная система" способы анализа меняющейся идеологической метафорики могут оказаться очень продуктивными для понимания разворачивающихся на наших глазах коллизий» [Зорин 2001: 20].

А.Б.Каменский рецензирует только «Кормя двуглавого орла…», без учета заметок А.Л.Зорина в «Неприкосновенном запасе», и, соответственно, не может оценить зоринскую интерпретацию процесса функционирования метафор в общественном сознании и превращения их в полноценные идеологемы. Отчасти это является результатом самой структуры книги: во время чтения ожидается, что динамика дальнейшего развития рассматриваемых идеологем будет показана в заключении, однако заключения нет (зарубежные рецензенты выразили сожаление по поводу этого факта [Whittaker 2002: 500; Wortman 2002: 545]). Намеком на подобное развитие может, пожалуй, служить заведомое употребление анахронистической терминологии, в том числе в названиях глав: «Народная война» (глава V), «Враг народа» (глава VI), «возникновение мифологии всемирного заговора против России» (подзаголовок главы II «Образ врага», где рассказывается, по сути, об антирусских интригах одной лишь Франции). Ср. также, например: «Таким образом, две соседние державы под скипетрами

"звезды севера" и "звезды востока", Александра и Константина, предполагалось соединить (воспользуемся глубоко анахронистической, но точно схватывающей суть дела терминологией) своего рода узами братской дружбы, причем Россия, разумеется, должна была исполнять в этом союзе (вновь идущий к случаю анахронизм) роль старшего брата» [Зорин 2001: 36].

IV.

Таким образом, можно говорить о том, что А.Л.Зорин ищет пути из кризиса «больших парадигм»[43] с помощью попытки обновления семиотического метода – «очищения» его от элементов Семиотики и превращения его в чисто научный, по возможности без мировоззренческих элементов. Это оказывается тем более актуально, что при применении метода в пределах Семиотики происходила та подмена, о которой писал А.М.Пятигорский – идеологии анализировались с точки зрения идеологии же (семиотической), тем самым позиция субъективного наблюдателя (изнутри определенной идеологии) имитировала позицию наблюдателя объективного (находящегося вне любых идеологий и поэтому схватывающего явления «так, как они есть»). Из-за этого, в частности, объект представал лишь как сеть семиотически насыщенных бинарных оппозиций, созданных сознательно для передачи данной уникальной информации; сфера бессознательного или даже непосредственные эмоциональные реакции из рассмотрения объекта элиминировались. Это приводило к недоумению при восприятии некоторых идей Ю.М.Лотмана даже близкими его друзьями – как, например, в известной полемике между Ю.М.Лотманом и Б.Ф.Егоровым по поводу книги «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» (1981,

---

[43] Кризиса «большой парадигмы» психоанализа в России, в отличие от Европы и США, как известно, не существовало, кризис марксизма не воспринимался как нечто болезненное – скорее наоборот. В отечественной филологии закат только двух «больших парадигм» переживался тяжело – Структурализма и Семиотики; обе они были связаны с Тартуско-Московской школой (см. в параграфах о Московском кружке и Ю.М.Лотмане). Подробнее о кризисе «больших парадигм» в российской и европейской гуманитарной сфере см. в фундаментальной монографии Д.Р.Хапаевой «Герцоги республики в эпоху переводов» [Хапаева 2005] – на данный момент единственной монографии по этой проблеме, написанной на русском языке.

переизд. 1983). Б.Ф.Егоров написал рецензию на эту книгу (опубликованную только в 1994 году) и послал ее Ю.М.Лотману. В рецензии, в частности, говорилось:

«<…> больше всего полемики было вокруг "жизнетворчества" Пушкина. Автор задался целью доказать, что поэт в течение всей своей жизни *сознательно* творил свою биографию, свой характер, свое поведение <…>. Сразу же оговорюсь, что я согласен с решительными противниками идеи. Если бы Ю.М.Лотман ограничился *романтическим* периодом жизни и творчества Пушкина, то тогда бы не было споров <…>. Что же касается других периодов, да и вообще сути пушкинского характера и поведения, то здесь Ю.М.Лотман чрезмерно категоричен. Правда, он, видимо чувствуя эту категоричность, делает соответствующие оговорки <…>. Но все же автор не отвергает и здесь "задуманного плана", "строительства", "творчества" жизни. Между тем биография каждого человека, в том числе и гения, складывается из такой тьмы случайностей, что они далеко не всегда оставляют место для "творчества" жизни, тут очень часто вступает в силу социально-природная натура личности как решающий регулятор поведения, вне сознательного или бессознательного замысла. Тем более не стоило бы отвергать пушкинский темперамент и отдавать его различные страсти и стихийность в услужение жизненной программе.

Особенно трудно согласиться с концепцией "жизнестроительства" в описании последних месяцев жизни Пушкина <…>. Совершенно невозможно воспринимать трагическую судьбу затравленного человека, Дом которого разрушили, запятнали грязью, от которого отвернулись даже близкие друзья, как "обдуманную стратегию" и как победу» [Егоров 1994: 229–230].

Ю.М.Лотман ответил Б.Ф.Егорову в письме от 20–21 октября 1986 года следующим образом:

«Я не могу с Вами согласиться в оценке "жизнестроительства" (я, кажется, этого слова не употреблял?) Пушкина. <…> Прежде всего, Вы отождествляете представление о сознательности жизненной установки с

рационалистическим планом, методически претворяемым в жизнь. А речь идет совсем о другом – о сознательно волевом импульсе, который может быть столь же иррационален, как и любая психологическая установка.

Один из смыслов замысла моей книги в том, чтобы написать биографию не как сумму внешних фактов (что и когда случилось), а как внутреннее психологическое единство, обусловленное единством личности, в том числе ее воли, интеллекта, самосознания. Я хотел показать, что как мифологический царь Адрас к чему ни прикасался, все обращал в золото, Пушкин все, к чему ни касался, превращал в творчество, в искусство (в этом и трагедия – Адрас умер от голода, пища становилась золотом). Пушкин – я убежден и старался это показать как в этой биографии, так и в других работах – видит в жизни черты искусства <…>.

<…> Я всегда считал ссылку на обстоятельства недостойной. Обстоятельства могут сломать и уничтожить большого человека, но они не могут стать *определяющей логикой* его жизни. Все равно важнейшим остается *внутренняя* трагедия, а не пассивный переход от одного "обстоятельства" к другому. <…> Я же хотел сделать именно опыт того, что никогда, смею думать, не делалось применительно к Пушкину, – показать *внутреннюю* логику его пути. А "романтическое жизнестроительство" здесь совершенно побочный термин, который лишь затемняет сущность дела» [Лотман 2006: 346–348].

Как бы то ни было, в глазах многих читателей (в том числе А.Л.Зорина) лотмановская концепция видится наподобие того, как ее истолковал Б.Ф.Егоров. В итоге А.Л.Зорин считает нужным «отредактировать» Ю.М.Лотмана:

«<…> концепция Лотмана (о семиотике бытового поведения. – *Н.П.*) оставляет за пределами рассмотрения целый ряд вопросов. Прежде всего остается неясным, что именно побуждало взрослых и вменяемых людей столь грубо и демонстративно не различать "литературу и реальность" и строить свое поведение на основе образцов, вычитанных в изящной

словесности. Кроме того, поведению, обладающему "поэтикой", организованному вокруг литературного кода, имплицитно приписывается чрезвычайно высокая степень рациональности и контролируемости. Между тем множество примеров, в том числе приводимых самим Лотманом, свидетельствуют о том, что отчетливо литературный характер свойственен более всего именно аффективному поведению, то есть поступкам, высказываниям и жестам человека, находящегося в состоянии сильного эмоционального возбуждения. Нередко в адрес работ Лотмана и его последователей выдвигается упрек в том, что действия исторических персонажей представлены в них чрезмерно стратегичными, зарегулированными, лишенными спонтанности и непредсказуемости, сопутствующей повседневной жизни.

Понятно, что рассмотрение всего этого круга вопросов невозможно без обращения к проблематике исторической психологии, дисциплины, традиционно выводившейся за рамки семиотического подхода к культуре. Тем не менее представляется, что подход, апробированный Лотманом, может быть распространен на эту сферу. Однако для этого оказывается необходимым дополнить лотмановскую концепцию *литературного поведения* понятием *литературного переживания*, то есть непосредственной эмоциональной реакции на те или иные жизненные впечатления, организованной и оформленной на базе предшествовавших им литературных впечатлений. Тем самым художественное произведение становится здесь источником не только и не столько *поведенческих кодов*, но и, в первую очередь, *психологических матриц*, задающих нормы эмоциональной жизни, через призму которых человек и воспринимает свой жизненный опыт» [Зорин 2004: 170–171].

В определенном смысле можно говорить, что и К.Гирц для А.Л.Зорина ценен не сам по себе, а в качестве «отредактированного Ю.М.Лотмана»: Ю.М.Лотмана, у которого, по крайней мере, эксплицирована теоретическая рефлексия по поводу обусловленности метода анализа своим собственным

мировоззрением. В обзорном параграфе о «долотмановском» периоде российского структурализма цитировались слова А.Л.Зорина о различиях между К.Гирцем и Тартуско-Московской школой; однако он видит и общее – и именно это общее оказывается актуально для него, когда он выбирает себе наиболее подходящий метод для анализа идеологий XVIII–XX веков:

«Многие работы Ю.М.Лотмана, Б.А.Успенского и некоторых других авторов того же круга связаны с анализом семиотических механизмов, организующих те или иные идеологические системы и регулирующих поведенческие стратегии их приверженцев. Иногда такой анализ выдвигался в качестве эксплицитной задачи <…>, чаще осуществлялся с помощью обходного терминологического инструментария. В то же время московско-тартуская школа в основном уклонялась от теоретического осмысления идеологии как системы культурных норм и регуляторов. Едва ли дело здесь только в факторах цензурного или автоцензурного характера. Само слово "идеология" в советских условиях столь безысходно принадлежало языку партийной пропаганды, что научная рефлексия над этой темой была, по-видимому, даже психологически затруднительной» [Зорин 2001: 17].

Конечно, нельзя говорить, что А.Л.Зорин представляет собой участника некого нового поколения Тартуско-Московской школы; скорее, он находится с ней в напряженном научном диалоге. Однако, исходя из вышесказанного, становится очевидно, что методология А.Л.Зорина во многом является методологией российской семиотики, модифицированной благодаря обращению к семиотике американской. Концепция А.Л.Зорина – вариант трансформации и усовершенствования подхода Ю.М.Лотмана, причем, по всей видимости, это один из наиболее удачных опытов такого рода в современной российской филологии.

V.

Имеет смысл вернуться к данному А.М.Эткиндом определению метода А.Л.Зорина как российского варианта нового историзма. Думается, что таковым его считать все же нельзя, несмотря на то что новый историзм

является, безусловно, подходом схожим и даже практически смежным (и что методика К.Гирца, вместе с рядом других, была использована новыми истористами при разработке собственной концепции). У американского нового историзма есть ряд общих предпосылок, в частности:

«<…> 1) любое выражение встроено в систему материальных практик;

<…> 3) литературные и нелитературные "тексты" существуют нераздельно;

<…> 5) <…> критический метод и язык, способные адекватно описать капиталистическую культуру, сами участвуют в описываемой экономической системе» [Veeser 1989: xi].

Итак, для американских новых истористов нет различий между текстами литературными и общекультурными; для А.Л.Зорина – есть. Для американских новых истористов при взаимодействии социального и литературного/культурного дискурсов оба направления взаимовлияния равно значимы, у А.Л.Зорина же есть «внешний» вектор влияния (от политики к литературным текстам, зарождение идеологем в последних) и «глубинный» (идеологемы из литературных текстов – обратно в социальную и политическую сферу). Наконец, разный категориальный аппарат: у новых истористов, испытавших сильное влияние марксизма, он взят из экономики (основные понятия, используемые лидером нового историзма Стивеном Гринблаттом, – «оборот», «переговоры», «обмен»), у К.Гирца и А.Л.Зорина – из семиотики. Правда, на «круглом столе» А.Л.Зорин применил термины «переговоры» и «символический обмен» для описания собственной концепции; причины этого требуют отдельного рассмотрения. Возможно, такая терминология показалась ему постфактум более точно отражающей суть явления. С другой стороны, трудно доказать, что, употребляя эти термины, он помимо марксистской и бодрийяровской традиции ориентируется еще и на новоисторическую. В любом случае, А.Л.Зорин оказывается ближе к С.Гринблатту в выступлении на «Forum AI», чем в книгах «Кормя двуглавого орла…» и «Где сидит фазан…».

Субъективно же А.Л.Зорину новый историзм еще более не близок: «Я не люблю новый историзм. Сам Гринблатт это делает виртуозно, а все остальные делают крайне грубо и плохо. И поскольку он один делает это виртуозно, а все остальные плохо, приходится предполагать, что методика слабовата. Берутся абсолютно наугад два совершенно не относящихся друг к другу текста, и между ними начинают связываться какие-то узлы. И если это может работать на материале Ренессанса, где мы имеем дело с гомогенной культурой, то при существовании гетерогенной культуры с этим нельзя будет работать, получится чистый хлам. <…> Все, что написано под этим флагом, – это абсолютная мертвечина, на мой взгляд» [цит. по: Хапаева 2005: 155–156].

Остается процитировать те слова А.Л.Зорина из упомянутого выступления на «круглом столе» редакции «Ab Imperio», где он описывает главную цель своей работы следующим образом: «В своей работе я попытался понять идеологическое творчество как процесс переговоров и символического обмена между его участниками. Однако в своей книге я видел этих участников исключительно в производителях идеологических метафор, будь то "писатели, философы, церковные проповедники, политики, журналисты, историки, а может быть, архитекторы или церемониймейстеры". <…> Идеологическая конструкция достигает успеха, если она проходит процесс адаптации, переработки и искажения. Воспользовавшись метафорой, принадлежащей Мишелю де Серто, можно сказать, что человек оказывается способен жить в предложенном ему идеологическом пространстве, только если он обставляет его своими смыслами» [Зорин 2002: 553–554].

§ 3. **Некоторые особенности научного метода О.А.Проскурина.**

Настоящий параграф фактически является дополнением к предыдущему: в нем не ставится цель проанализировать все особенности научного метода О.А.Проскурина, а только прослеживается его отношение к наследию Тартуско-Московской школы и рассматриваются причины обращения к концепции иностранного исследователя (в данном случае – американского историка Хейдена Уайта). И то, и другое в основных чертах сходно со стратегией А.Л.Зорина. В то же время многие важные с методологической точки зрения вопросы (например, взаимодействие О.А.Проскурина с концепциями, которые были свойственны формальной школе или В.Э.Вацуро, и модификация их методов) по необходимости остаются за рамками данной работы.

I.

В том же 1973 году, когда К.Гирц выпустил сборник «Интерпретация культур», Х.Уайт опубликовал монографию «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века» [Уайт 1973/2002], где провозгласил следующую идею: исторические сочинения не описывают реальные закономерности исторического процесса, а накладывают на исторический материал сетку категорий и производят нарратив, подобный нарративу произведений художественной литературы (поэтому его можно и нужно анализировать средствами поэтики): «В этой теории я трактую историческое сочинение как то, чем оно по преимуществу и является: словесной структурой в форме повествовательного прозаического дискурса. Истории (как и философии истории) объединяют определенный объем "данных", теоретических понятий для "объяснения" этих данных и повествовательную структуру для их представления в виде знаков совокупности событий, предположительно случившихся в прошлые времена. Кроме того, я полагаю, они включают глубинное структурное содержание, которое по своей природе в общем поэтично, а в частности лингвистично и которое служит в качестве некритически принимаемой парадигмы того, чем должно быть именно

"историческое" объяснение. Эта парадигма функционирует как "метаисторический" элемент во всех исторических работах, более исчерпывающих, нежели монография или архивный отчет. <…> я был вынужден постулировать глубинный уровень сознания, на котором исторический мыслитель избирает концептуальные стратегии, с помощью которых он объясняет ли представляет данные. Я полагаю, что на этом уровне историк совершает, по существу, *поэтический* акт, в котором он заранее представляет (*pre*figures) историческое поле и конституирует его как специфическую область, к которой он применяет отдельные теории, чтобы объяснить, что здесь "*действительно* происходило". Этот акт префигурации (prefiguration) может, в свою очередь, принимать ряд форм, типы которых характеризуются языковыми модусами, в которые они воплощаются. Следуя традиции интерпретации, идущей от Аристотеля и позднее получившей развитие у Вико, современных лингвистов и теоретиков литературы, я называю эти типы префигурации по именам четырех тропов поэтического языка: Метафорой, Метонимией, Синекдохой и Иронией» [Уайт 1973/2002: 17–18].

Близость своего подхода к взглядам Х.Уайта О.А.Проскурин провозгласил в книге «Литературные скандалы пушкинской эпохи»: «Со времени первых "метаисторических" работ Хайдена Уайта сделалось аксиомой положение, согласно которому "история" – это конструирование событий по образу и подобию тех или иных повествовательных форм. Для кого-то подобный вывод мог бы послужить аргументом против занятий историей, в том числе и историей литературы (поскольку это не путь к истине, а только блуждание в лабиринте нарративов). Я, напротив, вижу в Уайте союзника: он уместно напомнил о границах исследовательской мысли – о том, в частности, что они обусловлены культурной, в первую очередь литературной традицией. Это – лишний аргумент в пользу мысли о глубокой текстуализированности всей культуры» [Проскурин 2000: 17–18].

Обращение к концепции теоретика, считающегося постмодернистом, особенно любопытно потому, что в предыдущей монографии, «Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест», О.А.Проскурин, используя интертекстуальный метод исследования, при этом принципиально отвергает и постструктурализм, и рефлексию о теории: «Изучение отношений между текстами сейчас чаще всего связывается с постструктуралистским пониманием интертекстуальности, то есть с концепцией "смерти автора" и поглощения субъекта языком. Власть языка над пишущим в интерпретации постструктуралистов (особенно деконструктивистов) оказывается куда более всеобъемлющей, чем власть капитала в интерпретации Маркса; она тем страшнее, что в ней нет никакого смысла и цели, поскольку сам язык – лишь свободная игра означающих, лишенных трансцендентного означаемого. И тем не менее сбросить эту власть, действующую помимо чьих бы то ни было воли, желаний и намерений, невозможно. Культура предстает как кошмарная антиутопия, бытие при бессмысленном и бесконечном тоталитарном режиме… <…> Страсть к классификаторству и универсализации, столь присущая многим пишущим об интертекстуальности (особенно жителям германских земель), совершенно чужда автору настоящей книги. Близкое знакомство с рядом новейших работ убедило его в том, что "системы", которые могут быть сколь угодно впечатляющими сами по себе, совершенно непригодны для изучения реальных литературных явлений (если, конечно, не писать книгу для подтверждения "истинности" заранее созданной концепции). Автор должен сознаться в известной старомодности своих предпочтений: его интересовала не теория, а поэзия Пушкина. Наверное, от этого книга проиграла в плане "теоретичности", зато, хочется надеяться, выиграла в других отношениях» [Проскурин 1999b: 11–12].

Д.Р.Хапаева задается закономерным вопросом, что в таком случае может значить Х.Уайт для О.А.Проскурина, и сама же отвечает на него: «<…> отличается ли чем-нибудь "интертекстуальность" Проскурина, с которой он встретил вызов постмодернизма в своей первой книге, от

"текстуализированности культуры", с которой он принял постмодернизм вместе с великим учителем во второй? Оказали ли эти "теоретические мутации" хоть какое-то заметное влияние на творчество пушкиниста? Ответ и в этом случае, как и в случае с Зориным, однозначно отрицателен» [Хапаева 2005: 184].

В результате Д.Р.Хапаева считает, что выбор имени Х.Уайта, так же как выбор имени К.Гирца А.Л.Зориным и имени нового историста С.Гринблатта российским гуманитарием А.М.Эткиндом, обусловлены не поисками авторитетной теории, а, наоборот, принципиальным отказом от теорий: «Выбор имен предшественников оборачивается выбором не-имен или выбором таких имен, которые не способны заслонить собой то, что делают сами Зорин, Проскурин и Эткинд, превратить их в "представителей школы N"» [Хапаева 2005: 187]. С.Л.Козлов, наоборот, посчитал ссылку на Х.Уайта веским основанием для того, чтобы отнести О.А.Проскурина, вместе с двумя другими названными исследователями, к российскому варианту нового историзма [Козлов 2001а][44].

Думается, однако, что Х.Уайт действительно значил для О.А.Проскурина больше, чем просто взятый «наугад <…> великий предтеча» [Хапаева 2005: 184], – но не в качестве разработчика теории, применяемой О.А.Проскуриным на практике (здесь Д.Р.Хапаева права: Х.Уайта в тексте О.А.Проскурина нет), и не в качестве указания на принадлежность О.А.Проскурина к новому историзму, а так же, как К.Гриц для А.Л.Зорина: в качестве «отредактированного Ю.М.Лотмана».

II.

Идея «глубокой текстуализированности всей культуры» была свойственна О.А.Проскурину еще до написания предисловия к «Литературным скандалам пушкинской эпохи» (саму книгу составили девять очерков, написанных, как указывает сам автор, в течение 1980–1990-х годов

[44] О новом историзме, А.М.Эткинде и концепции С.Л.Козлова см. в параграфе о С.Л.Козлове. О соотношении основных постулатов нового историзма с идеями А.Л.Зорина см. в параграфе об А.Л.Зорине.

[Проскурин 2000: 16–17, сноска 7]). Во вступлении к «Поэзии Пушкина, или Подвижному палимпсесту» говорится: «Понимание интертекстуальности, имплицированное в настоящую книгу, отлично от господствующих ныне представлений. Там, где постструктуралисты видят мрачную (или, напротив, карнавализованную) драму поглощения субъекта языком, автор склонен видеть чудо превращения "структурного" в индивидуальное, "текстуальности" – в тексты. Вопрос о том, есть ли в этих процессах трансцендентное означаемое, он оставляет в стороне – как вопрос теологический и, следовательно, не доступный разрешению ни филологии, ни философии. <…> Исследователь литературы имеет дело с *текстами и отношениями между ними*; изучение внутренних импульсов, приведших к созданию этих текстов, – не его дело» [Проскурин 1999b: 11–12]. Очевидно, что здесь О.А.Проскурин отрекается не от любой «теоретичности», а только от постмодернистской (причем ее черты, неприемлемые для О.А.Проскурина, неожиданно близки Структурализму), в то же время оказываясь в русле Семиотики позднего Ю.М.Лотмана.

Однако, как цитировалось выше, сразу вслед за этим утверждением О.А.Проскурин отказывается от любых универсализаций, что, хорошо согласуясь с семиотическим методом, неизбежно входит в противоречие с Семиотикой как «большой парадигмой». В итоге интертекстуальный подход в книге становится более близким к теории формальной школы того периода, когда она находилась в точке поворота от имманентного анализа самодостаточного литературного ряда к исследованиям литературного быта: «Автор пытался понять действие механизмов интертекстуальности в исторической динамике (вновь вступая в противоречие с постструктурализмом, отрицающим само явление истории). Однако книга менее всего претендует на то, чтобы быть систематическим (и тем более исчерпывающим) историческим исследованием. Автор сосредоточился лишь на тех произведениях, которые казались ему особенно показательными для того или иного этапа эволюции творчества Пушкина. Исследование в

основном не выходит за пределы "литературного ряда". Лишь в последних главах рассматривается материал некоторых смежных культурных рядов. Автор полагает, что активизация экстралитературных планов в интертекстуальном модусе отражает логику развития пушкинского творчества» [Проскурин 1999b: 12].

Выбор именно такой позиции был оправдан в том смысле, что она позволяла анализировать литературный процесс, не опираясь исключительно на разработки формальной школы (далеко не во всем актуальные для О.А.Проскурина – или, по крайней мере, требующие существенной модернизации), но в то же время и не находясь в русле Семиотики. Переход к литературному быту значил бы фактически переход не столько к идеям Б.М.Эйхенбаума второй половины 1920-х годов, сколько к семиотике бытового поведения, разрабатывавшейся Ю.М.Лотманом в 1970–1980-х годах, т.е. опасное приближение к «большой парадигме» и универсализации своего метода и объекта. Но О.А.Проскурин изначально разделяет многие фундаментальные принципы Тартуско-Московской школы, и попытка абстрагирования от Семиотики приводит к противоречию в использовании метода, замеченному рецензентом:

«В предисловии автор, заранее отводя возможные упреки в неполноте всего труда, пишет, что сосредоточился "лишь на тех произведениях, которые казались ему особенно показательными для того или иного этапа эволюции творчества Пушкина" (с. 12). Эта установка объясняет и возникновение разрывов в ткани изложения – между первыми тремя главами, составляющими единый корпус ("Руслан и Людмила", "южное" творчество, "Евгений Онегин"), главой четвертой, посвященной элегиям "Под небом голубым…", "Воспоминание", "На холмах Грузии…" и стихотворению "Бесы", и пятой, где разобраны три произведения 1830-х годов – "Полководец", "Из Пиндемонти", "Памятник". Расстояние между черточками пунктира, возрастающее по мере развертывания научного сюжета,

демонстрирует не только заявленную избирательность, но и, видимо, некое "ускользание подхода", потерю методологической ясности.

Как собственно и несомненно "интертекстуальные" – и потому на одном дыхании, несмотря на ряд частных несогласий с исследователем (не совсем корректными представляются некоторые фонетические параллели) – читаются первые две главы книги. <…> Однако плотность интертекстуального поля, поражающая в раннем творчестве Пушкина, постепенно переходит в иное качество. <…> В обращении Пушкина с текстами других поэтов все возрастающее значение приобретает фактор опосредованности: обстоятельствами личной и общественной жизни, бытом и т.д. И значит, исследователю уже не обойтись без более или менее пространных экскурсов в историю культуры, без параллельного описания событий и реалий <…>. Иначе говоря, вторая часть книги (вкупе с двумя приложениями как образчиками "экстенсификации метода" – выражение автора, с. 13) видится скорее результатом классического "сопоставительного чтения", чем собственно интертекстуальных штудий, примененных в главах 1–3. Быть может, стоило пожертвовать протяженностью хронологического ряда во имя методологической гармонии» [Лямина 2000: 65–66].

По всей видимости, внутреннюю противоречивость собственного метода О.А.Проскурин почувствовал, готовя свою вторую книгу, в которой он выходит в пространство литературного быта. В результате было написано методологическое введение «О литературном быте и истории литературы. Вместо предисловия», где О.А.Проскурину потребовался не связанный с российской филологической традицией исследователь, «текстоцентричный» пафос которого мог бы быть близок лотмановскому, но который не претендовал бы при этом на универсализацию своей теории. Этим исследователем для О.А.Проскурина оказался один из главных идеологов американского лингвистического поворота 1970-х годов – историк-структуралист Хейден Уайт.

III.

«Предисловие к русскому изданию» своей наиболее широко известной монографии Х.Уайт начал словами: «"Метаистория" принадлежит определенному, "структуралистскому" этапу развития западной гуманитарной науки. Сегодня я писал бы ее иначе» [Уайт 1973/2002: 7]. По всей видимости, теоретик, подвергающий критической рефлексии «большие парадигмы» наиболее авторитетных историков XIX века, в позднейшей самоидентификации не относит себя к постмодернизму не только потому, что использует в своей работе структуралистский категориальный аппарат. В настоящем исследовании, однако, не ставится задача выявить особенности метода Х.Уайта (хотя нужно отметить, что в ряде моментов он схож с поэтикой выразительности А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова). Достаточно сказать только, что те же идеи, которые последующей западной традицией воспринимались как постструктуралистские, О.А.Проскурину могли напоминать положения Ю.М.Лотмана (если применять их, mutatis mutandis, не к текстам предшествующей научной традиции, а к текстам литературы и к стратегиям индивидуального поведения в пределах литературного быта). В «Предисловии к русскому изданию» Х.Уайт обобщает их следующим образом:

«Я бы сказал, что обычно историки стремятся объяснять серии исторических событий, представляя их наделенными формой и содержанием повествовательного процесса. Они могут дополнять эту репрезентацию формальным доказательством, претендующим на логическую последовательность, в качестве знака и индикатора его рациональности. Но так же, как существует много разных видов репрезентации, существует и много разных типов рациональности. В изображении Флобером событий 1848 года в "Воспитании чувств" мало иррационального, хотя здесь достаточно "воображаемого" и значительная доля "вымышленного". <…> Историография что-то добавляет к описанию голых фактов прошлого. <…> И я думаю, что это "что-то" – "литературность", для которой великие

романисты современной эпохи задают модели лучшие, нежели псевдоисследователи общества.

В "Метаистории" я пытался показать, что, поскольку язык предлагает множество путей конструирования объекта и закрепления его в образе или понятии, историки располагают выбором модальностей преображения (figuration), которые они могут использовать, чтобы строить сюжеты серий событий как выявляющие те или иные смыслы. В этом нет ничего детерминистского. Число видов преобразования и объяснения может быть ограничено, но их комбинации в данном дискурсе фактически бесконечны. Дело обстоит так потому, что в самом языке нет критериев, позволяющих различать "правильное" (буквальное) и "неправильное" (фигуративное) использование языка. Слова, грамматика и синтаксис любого языка не подчиняются ясному правилу, позволяющему различить денотативное и коннотативное измерения данного высказывания. <…> В "Метаистории" я и стремился проанализировать то, как действует этот процесс создания смысла. <…> одно дело считать, что сущность некогда была, и совсем другое – конституировать ее как возможный объект знания специфического типа. Я считаю, что эта конституирующая активность есть в такой же мере дело воображения, как и рационального познания. Вот почему я охарактеризовал свой проект как попытку концептуализировать скорее "поэтику" историографии, нежели "философию" истории» [Уайт 1973/2002: 9–11].

Как уже упоминалось, Х.Уайт для О.А.Проскурина предстает своеобразным «отредактированным Ю.М.Лотманом», однако «редактирует» он его гораздо сильнее, чем А.Л.Зорин – К.Гирца. Если историческое исследование по своей сути не отличается от исторического романа, но при этом любая, самая творческая деятельность несет в себе черты рациональности, следовательно, возможно художественно познавать свой объект, при этом претендуя на адекватность познания. Такой взгляд схож с взглядом Р.Д.Тименчика (поэтому об особенностях такого подхода и о связях его с теорией Ю.М.Лотмана см. подробнее в параграфе о Р.Д.Тименчике).

Это приводит к тому, что О.А.Проскурин в написании собственных работ, составивших книгу «Литературные скандалы пушкинской эпохи», ориентируется на традиции построения сюжета такого жанра художественной литературы, как новелла: «Большая часть составивших книгу очерков построена в форме историко-литературных новелл. Это означает, что отношение "фактов" выстраивалось в сознании автора (и, соответственно, в его тексте) по новеллистическому принципу: с завязкой (часто содержащей в себе некую загадку), запутанными (иногда наводящими на ложный след) перипетиями и развязкой (иногда неожиданной)» [Проскурин 2000: 17].

Фактически «Литературные скандалы пушкинской эпохи» представляют собой пример того явления, которое принято называть «интеллектуальным письмом». Это оказалось вторым основанием, на котором С.Л.Козлов попытался определить О.А.Проскурина как одного из российских новых истористов[45]. И хотя к новому историзму О.А.Проскурин относится, по всей видимости, с интересом (ср. нейтрально-положительные ссылки на это течение и его лидера С.Гринблатта в рассматриваемой книге [Проскурин 2000: 13], а также тот факт, что именно О.А.Проскурин подал С.Л.Козлову идею публикации материалов об американском новом историзме в № 42 «Нового литературного обозрения» [Козлов 2000b: 11]), но его самого считать новым истористом все же затруднительно. Причины те же, что и в случае с А.Л.Зориным, с одним уточнением. У американских новых истористов социальная (политическая) и художественная (литературная) сферы равным образом влияют друг на друга; у А.Л.Зорина есть два вектора влияния («поверхностный» – из политики в литературу, «глубинный» – из литературы в политику); О.А.Проскурин же представляет только «глубинный» вектор: «Сводя в книгу очерки разных лет, я не без некоторого удивления обнаружил, что мои устремления *прямо*

[45] О феномене интеллектуального письма и его соотношении с новым историзмом см. подробнее в параграфе о С.Л.Козлове.

противоположны тем подходам, что господствуют сейчас и в западной неомарксистской методологии, и в отечественной "либеральной" литературной социологии. Если задача сторонников новых постгуманитарных веяний – выявить за литературой борьбу экономических и политических интересов либо, на худой конец, столкновение "идеологий", то я, наоборот, за подобной борьбой стремлюсь увидеть манифестацию *литературности*» [Проскурин 2000: 14].

Далее приводится пример функционирования такого вектора: «Несомненный литературно-эстетический субстрат обнаруживается даже в тех сферах, где, казалось бы, первенствующая роль принадлежит отчетливо внелитературным факторам, – в частности, в таком специфическом явлении русской культурной жизни, как *донос*. Доносы первой трети XIX века нередко строятся на отчетливом "фиктивном" субстрате, имеют свою поэтику и порой срастаются с "настоящими", каноническими для эпохи литературными жанрами – публицистическими, беллетристическими и поэтическими. Даже донесения Фаддея Булгарина в III Отделение, выполняющие отчетливые прагматические функции, питаются романической парадигматикой, широко используют романические коллизии, строят образы врагов отечества по моделям романных персонажей. Между тем на основании булгаринских доносов создавались годовые отчеты III Отделения, предлагавшие параметры для внешней и внутренней государственной политики… Таким образом, через беллетризованный донос происходило проникновение литературного модуса в политическую сферу, "олитературивание" самого политического сознания. Николай I, достаточно равнодушно относившийся к русской литературе, поневоле сообразовывался в своей деятельности с булгаринскими фиктивными моделями. Донос, таким образом, оказывался не столько прискорбным свидетельством подчинения литературы политике патерналистского общества, сколько фактором влияния литературы на политику» [Проскурин 2000: 15–16].

Надо сказать, что подобные явления О.А.Проскурин готов видеть не только в первой трети XIX века. Здесь снова уместно сопоставить его исследовательскую оптику с оптикой А.Л.Зорина, который практические реализации идеологем, формировавшихся при Екатерине II, Александре I и Николае I, находит в российской действительности 1990-х годов. Для примера можно взять заметку О.А.Проскурина «Конец золотого века (к вопросу о соотношении искусства и жизни)» (1999), где описывается следующая история. О.А.Проскурин написал статью к 200-летию А.А.Дельвига по заказу газеты «Коммерсант», которую закончил цитатой из его идиллии «Конец золотого века» (1828): «Ах, путешественник, горько! ты плачешь! беги же отсюда! // В землях иных ищи ты веселья и счастья!..». Статья была опубликована в номере от 18 августа 1998 года, на следующий день после экономического кризиса; весь тираж этого выпуска был раскуплен в первые часы после поступления в продажу. О.А.Проскурин замечает: «Не знаю, много ли читатели "Коммерсанта" получили полезных сведений насчет того, "кто виноват", – номера от 18 августа я так и не видал. Но вот на вопрос "что делать?" моя юбилейная статья наверняка подсказала кому-то весьма конкретный ответ. Хотя, честное слово, я, когда писал ее, ни о чем таком не думал. Текст задумывался как слегка ироническая апология чистого искусства, и только ситуация исторического катаклизма превратила его в практическую рекомендацию. И я по сей день затрудняюсь ответить, что это: Деррида и неконтролируемая игра означающих или непостижимая уму телеология? Одна надежда: история покажет» [Проскурин 1999а: 54].

Итак, можно сказать, что О.А.Проскурин, воспринимая культуру в духе российской «большой парадигмы» Семиотики – «текстоцентрично» и «литературоцентрично», – пытается выйти за ее рамки. В первой монографии он использует внутренний потенциал этой системы, превращая интертекстуальное исследование в обоснование своей (хотя и восходящей во многом к Ю.Н.Тынянову) модели литературной эволюции. Во второй книге собственных ресурсов Семиотики для преодоления ее изнутри оказывается

недостаточно, и О.А.Проскурин в поисках методологической основы своего исследования обращается к теоретику, известному критическим переосмыслением структур «больших парадигм». Однако идея текстуальности (и текстуализированности культуры) – ключевая для Семиотики – не только не отвергается, но, наоборот, пропагандируется на качественно новом (по сравнению с первой монографией) уровне. Это было подмечено рецензентом: «Собственно научной *проблемой* является изучение разнообразия функций и особенностей *цитирования* (в широком понимании явления) как одного из основных механизмов культурного развития. Особенно важна при этом роль "цитаты" в качестве маркера той или иной области эстетической проблематики и канала демонстрации авторского позиционирования в контексте этой области. "Цитата" может быть не собственно текстовой, а ситуационной <…>. Подобный подход был манифестирован и продемонстрирован и в предыдущей монографии О.А. "Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест" (1999). Заявленный там принцип "историзма" применительно к интертекстуальным исследованиям нашел свое дальнейшее развитие в "Скандалах", что прямо связано с выдвижением на первый план внимания к "смежным рядам"» [Панов 2001: 366].

(Надо сказать, что цитируемая рецензия С.И.Панова – не только аналитическая, но и полемическая; в частности, оспаривается законность взгляда на доносы Ф.В.Булгарина как на переход литературности в политику [Панов 2001: 368–369]; к С.И.Панову присоединился А.И.Рейтблат. Интересно, что претензии фактографического характера приводят к следующим заключениям: у С.И.Панова – к подозрению, что О.А.Проскурин мыслит Ф.В.Булгарина по постмодернистской модели [Панов 2001: 368], у А.И.Рейтблата – к упреку в предположительности умозаключений, служащих у О.А.Проскурина доказательствами, и в неправомерном использовании сюжета теории заговора [Рейтблат 2001: 378–379]. Фактически здесь можно говорить о неприятии академическим литературоведением

интеллектуального письма О.А.Проскурина, которое строится по качественно иным структурным принципам, чем «классическая» филологическая работа; такое же неприятие – точнее, «полуприятие» – наблюдалось и в рецензии Е.О.Ларионовой на «Поэзию Пушкина, или Подвижный палимпсест» [Ларионова 1999: 8–9]. В результате в своем ответе С.И.Панову О.А.Проскурин не стал останавливаться на фактографической критике и перешел сразу на уровень общеидеологический [Проскурин 2001].)

Под влиянием такого «текстоцентричного» (по сути, семиотического в лотмановском смысле) мировоззрения О.А.Проскурина происходит заметная трансформация той концепции, которая была заимствована для выхода за пределы Семиотики. Хейден Уайт, поставивший под вопрос сами принципы научности исторического повествования, у О.А.Проскурина предстает обосновывающим адекватность семиотического анализа исторического материала. Универсализация при этом действительно преодолевается – однако только метода (в пользу более гибкого интеллектуального письма), но не объекта: «Итак, суммируем: литературный быт, каким он предстает в этой книге, – не столько форма воздействия социума на литературу и даже не столько вспомогательный фактор литературной эволюции, сколько канал, через который сама литература воздействует на соседние (а опосредованно – и на более отдаленные) "ряды" или "социальные практики": культуру, политику, формы социальной жизни. Изучение литературного быта, следовательно, намечает перспективы не для демистификации литературы, не для редукции ее до пункта пересечения противоборствующих социальных сил, а для изучения путей "текстуализации" культуры – явления, осмысление которого является насущной задачей современных гуманитарных дисциплин» [Проскурин 2000: 16].

Таким образом, можно говорить о том, что научный метод О.А.Проскурина является сложным конгломератом методик, заимствованных из различных филологических традиций (в первую очередь – из разработок формальной школы), ни одна из которых не претендует на всеохватность

описания, но все они описывают единое универсальное явление: текстуализированную культуру и процесс этой текстуализации. Это не столько преодоление «большой парадигмы» Семиотики, сколько ее трансформация для придания большей методологической гибкости. Видимо, поэтому О.А.Проскурин так негативно относится к постмодернистам, которые, по его мнению, совершают покушение на текст либо с позиции языка (что может быть истолковано как атака на Семиотику со стороны Структурализма), либо с позиции внеположного тексту социума (что может быть истолковано как атака со стороны течений социологического поворота[46]).

IV.

Впрочем, вполне возможен и такой вариант интерпретации, что О.А.Проскурин никогда не ставил перед собой задачи преодоления тех или иных «больших парадигм», категорию «текстоцентричности» воспринял просто как одну из отличительных особенностей российской культуры XIX–XX веков, а Хейден Уайт (и вообще категориальный аппарат западной гуманитаристики) ему потребовался по причинам не методологическим, а культуртрегерским. В пользу этого может говорить следующее рассуждение О.А.Проскурина:

«После "победы в холодной войне" многие западные (в первую очередь американские) литературоведы-русисты вздохнули с облегчением: наконец-то отпала необходимость быть в курсе того, что пишут об истории русской литературы русские авторы. К концу 1990-х годов западные исследователи практически перестали следить за российскими публикациями; об этом очень наглядно свидетельствуют обширные рецензионные отделы основных славистических изданий: лучшие русские работы последнего десятилетия вовсе не нашли здесь отражения. Русистика в различных западных странах

---

[46] О социологическом повороте см. подробнее в параграфе о С.Л.Козлове, а также в дополнении к параграфу о Ю.М.Лотмане.

постепенно превращается в региональную дисциплину, ориентированную на свой локальный контекст.

Между тем исторический опыт показывает, что наибольших успехов studia humanitatis достигают тогда, когда становятся делом интернациональным (это произошло, например, с романистикой в первые десятилетия минувшего века). И как раз сейчас, в условиях регионализации и маргинализации славистических исследований на Западе, у русских авторов появился шанс не только принять участие в построении международной русистики, но и занять в ней лидирующее положение. Необходимое условие для этого – не сужение, а всемерное расширение "историографической базы" исследований, вовлечение в сферу рефлексии стимулирующих теоретических работ Запада (их немного, но они есть), освоение значительнейших работ, посвященных западной культуре и литературе (их очень много), и – в идеале – профессиональное знание всех работ, посвященных русской литературе того или иного периода. Российское литературоведение сможет успешно противостоять утрачивающей широту кругозора "русистике" Запада только как дисциплина, открытая миру. Только в таком качестве отечественная филология (имею в виду прежде всего историю русской литературы) может надеяться восстановить свое достоинство и вернуть утраченный престиж» [Проскурин 2001: 145–146].

§ 4. **Стратегия С.Л.Козлова на посту заведующего отделом теории журнала «Новое литературное обозрение».**

I.

В № 15 «Нового литературного обозрения» С.Н.Зенкин, который был тогда заведующим отделом теории этого журнала, опубликовал подборку материалов, в 1980–1982 годах печатавшихся в самиздатовском журнале «Метродор» и посвященных критике Тартуско-Московской школы. В редакторском послесловии он аргументировал свой выбор следующим образом. Российский структурализм, в отличие от французского, в силу ряда причин оказался не готов пойти на ревизию собственного метода и перейти к постструктурализму. Уникальность авторов журнала «Метродор» (небольшой группы филологов-классиков из Ленинграда) заключалась в том, что они фактически подталкивали Тартуско-Московскую школу к пересмотру своей позиции, отказу от установки на строгую научность (сциентизма) и переходу на тот же путь эволюции, который выбрали себе французские семиологии, группировавшиеся вокруг журнала «Tel Quel»: «В таком историческом контексте антиструктуралистская критика журнала "Метродор" получает новое освещение, перестает быть чисто консервативной, традиционалистской по своим установкам (какой была, например, во Франции критика Раймона Пикара). Печатавшаяся в игровом, полупародийном студенческом журнале, она видится теперь, задним числом, как *провокация*, попытка вынудить своих оппонентов занять более радикальные, более последовательные методологические позиции, пройти до логического конца избранный ими путь познания. Повторяю, можно усомниться, что сами "метродоровцы" понимали тогда всю эту значимость своей критики, – во всяком случае, понимание это осталось воплощено лишь в постмодернистской художественной практике их журнала и не было осмыслено концептуально» [Зенкин 1995: 122].

Критика Тартуско-Московской школы – отдельная широкая тема, выходящая за рамки настоящей работы. Поэтому сейчас интереснее другое:

обоснование, которое дает С.Н.Зенкин, почему школа, если бы была более последовательной в разработке своего метода, должна была бы прийти к отказу от строгой научности и к разработке теории, схожей с теориями Юлии Кристевой и Ролана Барта. Причинами являются те самые универсализация метода и онтологизация объекта, благодаря которым и смогли возникнуть «большие парадигмы» Структурализма и Семиотики (С.Н.Зенкин здесь видит единую «большую парадигму»): «Постольку, поскольку структуралистские (или, скажем, психоаналитические) построения касаются лишь того или иного частного случая, отдельного текста, той или иной особенной анаграммы или гипограммы, которая в нем распознается хитроумным интерпретатором, – до тех пор эти построения остаются глубоко зыбкими, недоказуемыми <…>. Они обретают свою убедительность не поодиночке, а лишь при "систематическом использовании", в системной связности, причем эта система должна быть *в принципе бесконечной.* <…> Структурализм, таким образом, несмотря на подчеркнутый сциентизм своих первоначальных занятий (особенно в СССР), фактически был героической, очень рискованной попыткой *изучения целостных (и, вообще говоря, бесконечных) объектов.* Задача неизбежно требовала расчета с традиционными правилами и ограничениями научного исследования; другое дело, что именно в нашей стране структурализм не решился признать эту неизбежность, не пошел на создание новой эпистемологии, на волевое *постулирование* своих индуктивно недоказуемых познавательных принципов» [Зенкин 1995: 121].

Это не только индивидуальная позиция С.Н.Зенкина, но и выражение общего направления, которое взял журнал «Новое литературное обозрение» применительно к наследию Тартуско-Московской школы, – переосмысление основ российского структурализма и семиотики в сопоставлении с зарубежными гуманитарными традициями, отказ от универсализма, ревизия категориального аппарата.

В свою очередь, переоценка российского структурализма – лишь часть более общей и масштабной программы «Нового литературного обозрения» по модернизации филологического (и – шире – общегуманитарного) поля, заявленной во вступлении к № 1: «Вопреки укорененной привычке ставить себе идеальную и труднодостижимую цель и отчаянно дерзать ее воплощения, мы предпочитаем следовать Природе и как можно пристальнее обозревать и глубже осмыслять действительное состояние нынешней отечественной словесности и науки о ней. Это, впрочем, никак не означает пассивной фиксации животворного хаоса, царящего в русской филологии (что уже само по себе увлекательное занятие); "НЛО" видит свою высокую культурную миссию в том, чтобы способствовать установлению новой шкалы незыблемых ценностей и подготовке необходимого для этой цели профессионального инструментария» [Прохорова 1992: 5–6]. Правда, со временем тезис о незыблемости шкалы ценностей был отредактирован – в предисловии к спецномеру № 59, характерно названному «Другие истории литературы», И.Д.Прохорова уже говорила о российской гуманитарной сфере, сложившейся в 1990-е годы, как о многоликом комплексе течений и индивидуальных стратегий, сложно взаимодействующих друг с другом (что и является залогом интенсивного развития этой сферы): «За десятилетие бурного развития отечественной гуманитарной мысли, быстрой ликвидации ею теоретических лакун, ее упорных попыток интернационализации сложилась совершенно иная конфигурация научного пространства, где большое количество как отдельных исследователей, так и неформальных групп активно разрабатывают разновекторные направления, вольно или невольно враждуя и конкурируя друг с другом и в то же время взаимно друг на друга влияя, общими усилиями закладывая таким образом новый фундамент гуманитарного знания» [Прохорова 2003: 9].

Однако общая направленность осталась той же: в филологии продолжает царить хаос, необходимы новые ценностные ориентиры и новый категориальный аппарат для более эффективного дальнейшего ее развития:

«И гигантский объем материала, и полемический накал статей, и выверенность аргументаций (имеются в виду работы, опубликованные в 59-м спецномере. – *Н.П.*) – все свидетельствует о том, что потребность в пересмотре базовых основ собственной деятельности, модернизации профессионального инструментария давно назрела в филологической (и общегуманитарной) сфере и ею уже осознанно артикулируется» [Прохорова 2003: 8].

В данном параграфе нет возможности охватить такой сложный феномен, как стратегия журнала «Новое литературное обозрение» на протяжении 1990–2000-х годов и индивидуальные стратегии его авторов. Здесь будет представлена попытка анализа только деятельности С.Л.Козлова в то время, когда он возглавлял в этом журнале отдел теории: с № 20 (1996) по № 55 (2002), – тем более что многие его взгляды аналогичны стратегии журнала в целом, а сам он оказался одним из наиболее заметных и последовательных ее реализаторов.

II.

С.Л.Козлов – ярко выраженный российский постструктуралист в широком смысле слова[47]: наследие Тартуско-Московской школы для него актуально и важно, но при этом он стремится найти пути преодоления методологического монологизма российского структурализма и семиотики. В филологии (и в гуманитарной сфере в целом) для С.Л.Козлова важна неунитарность филологической традиции и неуниверсальность метода и категориального аппарата. Наиболее прямо он будет утверждать это уже позже, в 2006 году, в соавторстве с новым заведующим отделом теории «Нового литературного обозрения» А.Н.Дмитриевым: «Программным для нашего журнала является отказ от постулирования какой бы то ни было унитарной "филологической традиции": такая унитарная традиция может быть лишь сугубо фиктивным конструктом, блокирующим рефлексию, зато

[47] О постструктурализме в широком смысле слова см. также в дополнении к параграфу о Ю.М.Лотмане.

удобным для нужд квазирелигиозного поклонения, а главное – для борьбы с научным инакомыслием. Подобные "интегралистские" построения не только привычны для отечественного мышления о литературе, но и широко внедряются в общественное сознание сегодняшним дискурсом политико-идеологической консолидации – однако к свободному исследованию все это не имеет никакого отношения. В реальной истории мы имеем дело со множественностью подходов к филологии, несводимых друг к другу, а то и соперничающих друг с другом <…>» [Козлов, Дмитриев 2006: 8]. Однако эти взгляды были характерны для С.Л.Козлова с самого начала его сотрудничества с журналом.

Постструктурализм С.Л.Козлова не совпадает с тем пониманием постструктурализма/постмодернизма, которое характерно для определенных слоев российских философов (по преимуществу – круга издательства «Ad Marginem») и в котором анализ базируется на иррациональном (зачастую интуитивном) познании, противоположном сциентистскому постижению объекта. Для С.Л.Козлова категория научности, наоборот, важна; в этом смысле он противостоит вышеозначенному ответвлению постмодерна. И культуртрегерская программа С.Л.Козлова (а он является одним из наиболее значительных культуртрегеров в современной российской гуманитарной сфере) включала в себя ознакомление отечественной филологии с различными течениями западного постмодерна в том числе и для того, чтобы российские читатели смогли выработать (по аналогии и по контрасту) более тонкие приемы критической рефлексии над собственной методологией. В частности, уже в № 2 «Нового литературного обозрения», публикуя одну из итоговых работ американского деконструктивиста Поля де Мана, в которой тот полемизирует с семиотиком Майклом Риффатерром, С.Л.Козлов говорил: «Статья Поля де Мана о Майкле Риффатерре важна как наглядное столкновение деконструктивизма с семиотической поэтикой, близкой по типу к русской лингвистической поэтике. В этом отношении статья как бы моделирует ситуацию "русская филология на rendez-vous с

деконструктивизмом". <…> Статья де Мана может и разочаровать, и раздражить филологически ориентированного читателя. Она еще раз подтверждает, что философский и филологический подход к тексту подчинены принципу дополнительности[48]. Но филологически ориентированному читателю она дает ценный шанс хотя бы ненадолго выйти за спокойные пределы автоматического знания и вернуться в опасную область заинтересованного осмысления» [Козлов 1993: 25, 29].

Вместе с тем та установка на строгую научность, которая была характерна для Тартуско-Московской школы, неприемлема для С.Л.Козлова по противоположной причине: он воспринимает ее как гиперсциентизм за ее ригористичность. Фактически антинаучность философского постмодерна и сциентизм Тартуско-Московской школы оказываются двумя полюсами, которые объединяются на том основании, что каждый из них претендует на универсальность своего метода. Но при этом С.Л.Козлов видит определенный потенциал, заложенный в разработках российских структуралистов и до сих пор не полностью исчерпанный, и пытается найти такие пути для развития современной российской филологии, на которых этот потенциал можно с успехом использовать и развивать. «Потенциал» в данном случае – не вся Тартуско-Московская школа (она, наоборот, воспринимается как устаревшая), а те ее элементы, которые сходны с элементами зарубежных постструктуралистских течений. Относительно же «большой парадигмы» школы в целом С.Л.Козлов рассуждал безрадостнее: «Уже на "Тыняновских чтениях" конца 1980-х годов чувствовалась исчерпанность парадигмы. Возникал контраст между идейным богатством первых конференций и этими заседаниями, где все сводилось к чисто традиционному литературоведению. Когда начинался журнал "НЛО", было

---

[48] Имеется в виду принцип дополнительности, провозглашенный в физике Нильсом Бором: чтобы адекватно исследовать явление, необходимы как минимум две системы описания, несовместимые друг с другом («дополнительные» по отношению друг к другу). Это обеспечивает более полное, комплексное понимание объекта.

ощущение полной исчерпанности того, что позволяло работать в позднесоветский период» [цит. по: Хапаева 2005: 110].

Чтобы нагляднее представить нереализованные возможности теорий Тартуско-Московской школы[49] российскому читателю и одновременно выйти из кризиса ее «большой парадигмы», С.Л.Козлов использует концепции западных теоретиков как своеобразную систему зеркал, работающих по принципу сходства (как М.Риффатерр) или контраста (как П. де Ман) и помогающих увидеть актуальные стороны наследия Тартуско-Московской школы. Чтобы понять, в чем именно это заключалось и как проявлялось, нужно рассмотреть публикаторскую деятельность С.Л.Козлова на страницах «Нового литературного обозрения» в динамике.

III.

В декабре 1992 года вышел первый номер журнала. Одна из тематических рубрик в нем называлась «Lacunae», целью которой обозначалось «представить читателю фрагменты из утерянного поневоле» (стр. 17), из тех зарубежных направлений теоретической мысли, которые не были доступны (или восприняты) ранее. Открыл ее С.Л.Козлов публикацией статьи М.Риффатерра «Формальный анализ и история литературы» (1970) и сопроводил предисловием, в котором утверждал: «Вероятно, они (работы М.Риффатерра. – *Н.П.*) не откроют нового направления мысли, но они могут помочь продвижению вперед в ранее избранном направлении. При скудости и изношенности набора категорий, принятых в нашем литературоведении, глупо было бы пренебрегать еще не использованными ресурсами привычной парадигмы. Вместе с тем строгая систематичность мышления Риффатерра может провоцировать научную полемику и способствовать прояснению альтернативных теоретических программ <…>» [Козлов 1992: 20].

---

[49] Разумеется, С.Л.Козлов, публикуя статьи зарубежных филологов, философов, историков, социологов и апеллируя при этом к российскому контексту, принимает в расчет далеко не одну только Тартуско-Московскую школу. Но в данной работе имеет смысл пойти на эту исследовательскую редукцию, чтобы ярче высветить точки схождения и расхождения стратегии С.Л.Козлова именно с российским структурализмом и семиотикой.

Выбор в качестве первого имени, представляемого «Новым литературным обозрением», именно Майкла Риффатерра, американского семиотика французского происхождения, испытавшего влияние Р.О.Якобсона, во многом близкого Х.Р.Яуссу, У.Эко и Ю.М.Лотману («Все эти авторы являются референтными для Риффатерра» [Козлов 1992: 18]), обусловлен простым соображением. Оно стало еще более очевидным при публикации в следующем же номере (и в той же рубрике) полемической статьи П. де Мана «Гипограмма и инскрипция: поэтика чтения Майкла Риффатерра» (1981). Как позднее вспоминал С.Л.Козлов, «<…> в первом номере читателям была представлена семиотика поэзии Майкла Риффатерра, а во втором – теория деконструкции в лице Поля де Мана. То есть в качестве первого блюда был предложен продукт, максимально усвояемый организмом русских филологов, а в качестве второго – максимально неусвояемый» [Козлов 2000b: 5]. Стратегия С.Л.Козлова (еще не заведующего отделом теории, но человека близкого к «Новому литературному обозрению») очевидна: спровоцировать в филологическом сообществе критическую рефлексию по поводу своих методологических основ, переосмысляя опыт отечественной семиотики на фоне полемик о семиотике западной.

Однако в итоге инициатива С.Л.Козлова оказалась такой же тщетной, как некогда – инициатива авторов журнала «Метродор»: «Надо сказать, что результаты обоих этих экспериментов оказались плачевными – то есть никакими. Кто и так знал вышеупомянутых авторов, тот при своем знании остался, а остальным это знание не понадобилось – во всяком случае, если судить по воображаемому индексу цитирования. <…> И концепция Риффатерра, и концепция де Мана, при всей их полярной противоположности, были *теориями языка*. Сегодня, с семилетней дистанции, становится резко очевидно то, что лишь смутно ощущалось тогда: русскому читателю 1992–1993 годов никакие теории языка – ни позитивные, ни негативные – не давали пищи для ума. Редакция "НЛО" не могла избавить себя от культуртрегерских обязательств (обе публикации

появились под рубрикой "Lacunae", с самого начала предусмотренной в структуре журнала), но для продуктивного русско-американского взаимодействия требовались иные пути» [Козлов 2000b: 5–6].

С.Л.Козлов продолжает искать новые пути не только для русско-американского взаимодействия. В № 8 (1994) он публикует статью-манифест итальянского историка и семиотика Карло Гинзбурга «Приметы: Уликовая парадигма и ее корни» (1979), в предисловии к которой говорит: «<…> приобщение к результатам поиска собственной профессиональной идентичности, предпринятого Карло Гинзбургом, может оказаться освобождающим для многих исследователей. Статья Гинзбурга может стать манифестом для тех, кто хочет видеть в литературоведении, искусствоведении, истории, культурологии – не науку, а искусство: личное, непредсказуемое и неповторимое искусство дешифровки конкретных текстов и конкретных ситуаций» [Козлов 1994: 30]. В качестве причины (и, соответственно, предотвращения) возможного неприятия концепции К.Гинзбурга С.Л.Козлов называет чрезмерную специализированность российских гуманитариев и боязнь перехода в междисциплинарное пространство: «У подавляющего большинства теперешних русских исследователей, работающих de facto в рамках уликовой парадигмы, непременной основой и даже как бы условием такого стиля работы является предельная узость специализации и кругозора. Интерес к частностям коррелирует здесь с неспособностью к междисциплинарным переходам и широкомасштабным обобщениям» [Козлов 1994: 31]. Думается, однако, что и выбор на этот раз именно К.Гинзбурга, и то всеобщее равнодушие, которое постигло третье начинание С.Л.Козлова вслед за публикациями М.Риффатерра и П. де Мана, были обусловлены не только и не столько невозможностью или необходимостью для гуманитариев принятия междисциплинарности (тем более в семиотическом варианте). Чтобы понять основную причину, необходимо сделать экскурс в более широкий теоретический контекст.

М.Риффатерр и П. де Ман, как указывал С.Л.Козлов, – два полюса единой теории языка. Чтобы российская филология могла органично усвоить их идеи, приходится искать те явления в российской культуре, которые были бы наиболее схожи с прививаемыми зарубежными теориями и стилями. Одним из оптимальных вариантов оказывается семиотика Ю.М.Лотмана, у которой действительно больше сходств с традицией западной теоретической мысли, чем у большинства других отечественных концепций.

Прививать же следует в первую очередь то, что необходимо для приобщения российской гуманитаристики к общемировой постструктуралистской тенденции, которая может быть названа социологическим поворотом («Новое литературное обозрение» предпочитает называть этот поворот антропологическим)[50]. Для социологического поворота характерны отказ от «больших парадигм» и интерес к уникальному, индивидуальному в человеческой деятельности; при этом, в отличие от структурализма, в качестве точки отсчета берется не знаковая система или знаковая деятельность человека, а сам человек и его место в социуме. Соответственно, все явления языка и культуры приобретают интерес для исследователя в их индивидуальной рецепции человеком и в своем социальном функционировании в данных конкретных социумах. В рамках изолированных дисциплин такие феномены изучать нельзя; поэтому социологический поворот предполагает междисциплинарность. Это обуславливает разработку более сложного и тонкого категориального аппарата, где каждое явление не сводится к некоему генерализирующему базису (в том числе знаковому) и не встраивается в сетку общих категорий, а само эту знаковость и эти категории создает и непрерывно модифицирует в динамически изменяющейся конкретно-исторической ситуации.

Соотношение теории Ю.М.Лотмана и социологического поворота – вопрос, требующий отдельного рассмотрения. А.Л.Зорин на круглом столе

---

[50] О социологическом (антропологическом) повороте см. также в дополнении к параграфу о Ю.М.Лотмане.

«Нового литературного обозрения», состоявшемся 4 апреля 2006 года и называвшемся «Культурные коды, социальные стратегии и литературные сценарии», высказал следующую точку зрения: «<…> в своей научной практике он последовательно избегал социальных наук. Его проект с самого начала ограничивался только культурной сферой. Так, он последовательно рассматривал поведение вне социологии, ритуалы – вне антропологии и личность – вне психологии; весь анализ от начала и до конца оставался анализом культуры» [Круглый стол 2006: 97]. В настоящей работе приводится несколько иной взгляд на эту проблему (см. параграф о Ю.М.Лотмане, в частности, дополнение к нему). Как бы то ни было, социологический поворот в российской филологии одновременно неразрывно связан с наследием Ю.М.Лотмана и стремится переосмыслить его.

Главный редактор «Нового литературного обозрения» И.Д.Прохорова в предисловии к тематическому номеру «Антропология закрытых обществ» (№ 100) показывает, что готова (во всяком случае, теперь, на рубеже 2010-х годов) воспринимать социологический поворот как зарождение новой «большой парадигмы» – и уже сейчас начинать совершенствовать ее категориальный аппарат: «Я рассматриваю весь доныне пройденный путь "НЛО" как важнейший подготовительный этап к подлинному старту, к формированию и формулированию принципов новой гуманитарной научной парадигмы. <…> Плох тот ученый, который не хочет создать единую теорию мироздания. На такую демиургическую роль претендовали создатели больших философских и исторических нарративов. Недаром со всех сторон несутся жалобы на отсутствие обобщающей теоретической рамки для социальных и гуманитарных наук, что якобы парализует развитие научной мысли.

Что ж, мы не против новых глобальных концепций; весь вопрос в том, в каком структурированном культурном пространстве они появятся и как они, в свою очередь, модифицируют эту сферу. <…> Позволю себе высказать

смелую догадку, что, возможно, мы стоим на пороге возникновения новой научной парадигмы, которую очень условно можно назвать "новой антропологией культуры". В этой новой системе координат будут пересмотрены совокупность подходов, понятийных категорий, профессиональных навыков и дискурсивных средств для создания новой истории цивилизаций и новой исторической периодизации, концептуальным стержнем которых станет жизнь человека в его разветвленных связях с другими людьми, социальными институтами, институтами власти, его стратегии выживания, креативности, самореализации в разных исторических обстоятельствах, его усилия по расширению сферы автономного и независимого существования. Изучением смутных очертаний этого неизвестного научного объекта и посильным формированием его концептуального аппарата, очевидно, и займется "НЛО" в последующих ста номерах журнала» [Прохорова 2009: 9, 15–16].

С.Л.Козлов же, как демонстрировалось выше, к «большим парадигмам» относился скептически, и социологический поворот для него – скорее повод привить российской филологии привычку к междисциплинарности (что всегда бывает плодотворно для науки, а в ситуации методологического кризиса 1990-х годов и почти всеобщего равнодушия к теории – тем более). Кроме того, это шанс реализовать свою собственную программу, которая может быть названа как формирование в российской гуманитарной сфере стратегии «интеллектуального письма», т.е. явления, пограничного между наукой и свободной эссеистикой, преодолевающего ограниченность и постмодерна, и сциентизма. Строго говоря, типологически это схожее с междисциплинарностью, но более широкое явление: преодоление границ не только между науками гуманитарного цикла, но и между наукой, философией и художественным творчеством. Для демонстрации того, как это работает, С.Л.Козлову потребовался К.Гинзбург.

IV.

В 2004 году, через десять лет после первой публикации, С.Л.Козлов издает сборник работ К.Гинзбурга и пишет к нему послесловие. В нем рассказывает и о самом К.Гинзбурге, и о сфере его деятельности (микроистория, т.е. история частных людей, их мировидения и индивидуальной деятельности; в данном случае – в пределах XVI–XVII веков), и о методе анализа (так называемая «уликовая парадигма»). Касается также развития микроисторических исследований в Италии в 1970–1980-е годы, затрагивая при этом вопрос о причинах распада этого течения:

«Сообщество итальянских микроисториков, сплотившееся вокруг журнала "Quaderni storici", пережило свой "штурм унд дранг" в конце 1970-х годов, свое акмэ – в начале 1980-х годов, а с середины 1980-х вошло в полосу кризиса. Источником постепенно накапливавшейся напряженности в группе стало сосуществование в ней двух разных тенденций: первая была представлена такими историками, как Эдоардо Гренди и Джованни Леви, вторая – Карло Гинзбургом. Гренди и Леви видели сверхзадачу микроисторических исследований в том, чтобы превратить историю в социальную науку: в 1994 году Гренди ретроспективно охарактеризовал микроисторию как "своего рода итальянский путь к самым передовым формам социальной истории – социальной истории, которая работает под водительством социальной теории". В смене масштаба наблюдений Гренди и Леви видели способ приблизиться к более адекватным и строгим схемам описания социальной реальности, "перестроить историческую науку по образцу социальной антропологии, с сильным упором на доказательности утверждений". Работы Гинзбурга совершенно не вписывались в этот проект. Гренди и Леви формулировали разницу между своим подходом и подходом Гинзбурга как разницу между двумя контекстами: они стремились осмысливать анализируемый материал в контексте социальной жизни, Гинзбург же – в контексте истории культуры. <…> Но Гинзбурга на самом деле интересовала отнюдь не просто история культуры. Его интересовало

максимальное приближение к человеческой индивидуальности; и в своем анализе этой индивидуальности он вдохновлялся не образцами социальной теории, а образцами художественной литературы <…>» [Козлов 2004: 343–344].

Итак, для итальянских микроисториков стремление к объединению с социологией (что свидетельствовало об усилении тенденции к строгой научности) и желание писать интеллектуальным письмом оказались несовместимы. Для С.Л.Козлова же, начиная с первой публикации К.Гинзбурга, именно эти тенденции стали двумя направлениями единого проекта модернизации российского филологического пространства[51].

Динамику «социологический линии» обозначил сам С.Л.Козлов в предисловии к подборке материалов «Социология авторского права» (№ 48): «Нижеследующий блок материалов продолжает разработку социологической проблематики, систематически ведущуюся на страницах "НЛО" (см., в частности, подборки "Социология литературного успеха" [НЛО № 25 и № 34], "Социология поколений" [НЛО № 30], "Социология маргинальности" [НЛО № 37], "Социология чувств" [НЛО № 43], "Социология культурных полей" [НЛО № 45], а также предложенные А.И.Рейтблатом специальные тематические номера "Другие литературы" [НЛО № 22] и "Булгаринский номер" [НЛО № 40])» [Козлов 2001b: 5]. Ссылка на А.И.Рейтблата показательна: «социологическая линия» начата не С.Л.Козловым, а характерна для стратегии «Нового литературного обозрения» в целом; подборка № 48 станет последней социологической подборкой на страницах журнала из тех, которые составлял С.Л.Козлов, но и после его ухода

[51] Разумеется, культуртрегерская деятельность С.Л.Козлова, в том числе публикаторская в должности заведующего отделом теории в «Новом литературном обозрении», исключительно к этим двум направлениям не сводится. За рамками рассмотрения остаются такие важные плоды деятельности С.Л.Козлова, как организация рубрики «Рецепция идей» (№ 49 (2001); с обсуждением адаптации в российской культуре философии Мишеля Фуко), блока материалов «Литературный канон как проблема» (№ 51 (2001); с пересмотром традиции трактовки такого феномена, как канонизация, в духе формальной школы) и т.д. Для настоящей работы важны только обозначенные два направления постольку, поскольку они оказываются напрямую связаны со стратегией переосмысления наследия Тартуско-Московской школы.

публикация материалов (и блоков материалов) по социологической тематике продолжится – вплоть до тематического спецномера № 100 «Антропология закрытых обществ».

Динамика второго направления – формирование интеллектуального письма, т.е. того направления, которое было не общередакционным, а собственно козловским, – оказалась сложнее.

V.

В № 29, уже будучи заведующим отделом теории, С.Л.Козлов публикует статью Клиффорда Гирца «Идеология как культурная система» (1964); идея публикации принадлежала А.Л.Зорину, который сопроводил ее своей статьей о К.Гирце (позже она в переработанном виде станет предисловием к его книге «Кормя двуглавого орла…» [Зорин 2001])[52]. Тем не менее С.Л.Козлов предпослал публикации и свое предисловие, в котором рассуждал о значимости теории К.Гирца для преодоления российскими филологами кризиса Тартуско-Московской школы: «<…> лежащий в основе "насыщенного описания" принцип "от частного к общему" роднит методологию Гирца с "уликовой парадигмой" в интерпретации Карло Гинзбурга. Гирцевская программа "семиотики без структурализма" существенно близка к тому, что Гинзбург называет "семейотикой" и, как кажется, весьма актуальна для российских гуманитариев, до сих пор не преодолевших последствия распада московско-тартуской школы.

Что же касается данной статьи, прямо и спокойно отвечающей на вопрос "что такое идеология и зачем она нужна" – надо надеяться, что она сыграет свою особую терапевтическую роль: поспособствует преодолению у тех же российских гуманитариев группового невроза, который может быть назван "страх идеологии"» [Козлов 1998b: 5].

Здесь еще нет идеи рассуждений о полезности интеллектуального письма и нивелирования границ между наукой и эссеистикой. Первой

---

[52] Подробнее о стратегии А.Л.Зорина и о значимости для этой стратегии теории «насыщенного описания» К.Гирца см. в параграфе об А.Л.Зорине.

подборкой в этом ключе, которую организовал С.Л.Козлов, был блок материалов «Интеллектуалы и сакральное» (№ 31). В нем также есть статья К.Гинзбурга («Германская мифология и нацизм. Об одной старой книге Жоржа Дюмезиля» (1984)), но внимание С.Л.Козлова сосредоточено не столько на ней, сколько на фрагментах из книги французского интеллектуала Дени де Ружмона «Любовь и Запад» (1939, 1972): «Будучи написана дилетантом (но очень образованным дилетантом!), книга Ружмона смогла дать внятный образ большого исторического явления и рельефно представить это явление в общекультурном контексте. В деле формирования гештальтов образованный дилетант, несомненно, имеет преимущество перед специалистом, полнота которого, как известно, одностороння <…>. Дилетант всегда шире подходит к объекту, нежели специалист, и эта широта может оказаться очень плодотворной. Книга Ружмона интересна как рассказ о философии любви; она интересна как документ эпохи; но еще она интересна как демонстрация метода – захватывающе увлекательного метода, доступного далеко не всем профессиональным ученым» [Козлов 1998а: 50].

В 2000 году С.Л.Козлов продолжает попытки пропагандирования интеллектуального письма – в частности, по-прежнему видит возможность его формирования с помощью рецепции филологией более свободного языка философии. В №№ 44 и 46 он публикует отрывки из работ другого современного итальянского мыслителя, Джорджо Агамбена – «Политизация смерти» (1995; фрагмент из книги «Homo sacer»), «Apóstolos» и «Скрытый подтекст тезисов Беньямина "О понятии истории"» (2000; фрагменты из книги «Оставшееся время: Комментарий к "Посланию к римлянам"»). В своих предисловиях он рассуждает об актуальности метода Дж.Агамбена для российской филологии: «<…> это – именно тот способ мышления, который так привлекает "филолога-уклониста": укорененность в эрудиции и сопоставлении "параллельных мест" соединяется здесь с установкой на концептуальное осмысление современности, и все это – при полном отсутствии того манерного нарциссизма, который делает для русского

филолога столь невыносимой французскую философию 60-х – 90-х годов» [Козлов 2000a: 73]; «<…> новая книга Агамбена («Оставшееся время». – *Н.П.*) впечатляет, помимо прочего, тем, как легко она "снимает" многие антиномии, казавшиеся безнадежными. И, в частности, она показывает, что хорошая филология и хорошая философия совсем не так далеки, как мы иногда себя уверяем» [Козлов 2000c: 48].

Но главный проект С.Л.Козлова этих лет – не К.Гинзбург и не Дж.Агамбен. В том же 2000 году, в № 42, он организует программу, которая именно для него (в отличие от «Нового литературного обозрения» в целом), вообще говоря, не характерна: пытается создать «большую парадигму», которая скрестила бы в себе и стремление к социологическому повороту, и интеллектуальное письмо, и интерес к семиотике (в ее постструктуралистском варианте), и критическую рефлексию над категориальным аппаратом.

Создание такого проекта было вызвано тем, что российское филологическое сообщество 1990-х годов крайне индифферентно реагировало на все попытки «Нового литературного обозрения» в целом и С.Л.Козлова в частности представить комплекс западных идей и течений как актуальный для отечественной гуманитарной культуры. В 1998 году, публикуя в № 34 четыре отклика на статью М.Ю.Берга «Гамбургский счет» (№ 25), С.Л.Козлов указывает возможные претензии к подборке (откликов мало, а печатаются они поздно) и, отвечая на них, по поводу первой невесело замечает: «<…> наличие даже четырех откликов является серьезным достижением в русской культурной ситуации 90-х годов, для которой, как уже неоднократно отмечалось, характерны распыленность и слабое реагирование на любые импульсы <…>» [Козлов 1998c: 109]. Следовательно, необходимо что-то, что поможет усваивать эти импульсы более органично, т.е. что-то одновременно привычное и новое. Как уже говорилось, наиболее актуальной из российского наследия в таком контексте оказывалась семиотика Ю.М.Лотмана; а наиболее легкий способ продвижения новых

идей и тенденций в этом случае – вписывание их в знакомый российскому филологу контекст «большой парадигмы».

Кроме того, как уже указывалось в параграфе о Московском кружке, успешно преодолеть одну «большую парадигму» может только другая «большая парадигма», замещающая ее. Если нельзя никак иначе выйти из кризиса в филологии, возникшего после распада Тартуско-Московской школы, то нужно противопоставить Структурализму и Семиотике что-то равновеликое.

Среди многочисленных западных теоретических направлений, С.Л.Козлов находит только одно, которое бы удовлетворяло если не всем вышеперечисленным требованиям, то по крайней мере большинству из них, – американский новый историзм.

VI.

В задачу данной работы не входит проанализировать все особенности нового историзма как в англо-американской гуманитарной традиции, так и в российской; достаточно бегло очертить тот общий фон, на котором С.Л.Козлов пытается развить свой проект. В США и Великобритании новый историзм представлял из себя теоретический конструкт, вобравший весьма разнородный материал, – теории Клиффорда Гирца и Луи Альтюссера, Мишеля Фуко и Поля Рикера, Жака Деррида и Ю.М.Лотмана, Хейдена Уайта и М.М.Бахтина, часто противоречащие друг другу. Тем не менее такое парадоксальное объединение было не вполне механистическим: лидер новых истористов Стивен Гринблатт компилировал европейские (в том числе российские) теории, которые уделяли бы внимание языку (семиотический аспект) и власти (политический аспект), комбинируя их с идеями тех представителей американской гуманитарной сферы, которые, по его мнению, наиболее успешно исследовали тот же комплекс проблем. Новый историзм в США быстро стал популярен во второй половине 1970-х годов и во многом исчерпал себя к концу 1980-х (в Великобритании несколько позже); своеобразным итогом эволюции этого направления стал сборник «The New

Historicism», редактор которого, Хэролд Арам Визер, в предисловии подытожил основные его черты:

«<…> новый историзм является по своей сути контаминацией. Он ставит в один ряд литературоведение, этнографию, антропологию, историю искусств и другие дисциплины и отрасли научного знания, точные и не очень. <…> Любой, кто начал бы интересоваться новым историзмом, мог бы с уверенностью почувствовать, что, при всей разнородности материала, ключевые предпосылки повторяются вновь и вновь и объединяют исследователей, признанных новыми истористами, и даже их критиков. Вот эти предпосылки:

1) любое выражение встроено в систему материальных практик;

2) при любом акте разоблачения, критики или противодействия используется инструментарий, который отвергается этим актом, и критик рискует пасть жертвой практики, которую разоблачает;

3) литературные и нелитературные "тексты" существуют нераздельно;

4) ни один дискурс, изобразительный или архивный, не предоставляет доступа к незыблемым истинам и не выражает неизменную человеческую природу;

5) наконец (как это с очевидностью следует из данного сборника), критический метод и язык, способные адекватно описать капиталистическую культуру, сами участвуют в описываемой экономической системе» [Veeser 1989: xi].

В итоге новый историзм породил два лозунга: «историчность текстов и текстуальность истории», а также (поскольку сам С.Гринблатт не любил термин «новый историзм» и пользовался вместо него другим – «поэтика культуры») – «поэтика и политика культуры». Оба лозунга ввел в широкий обиход последователь С.Гринблатта Луи Эдриан Монроз, который и стал в результате главным теоретиком данного направления (С.Гринблатт от теоретизирования отказывался, рассматривая новый историзм лишь как свой индивидуальный рабочий метод исследования). Манифест Л.Э.Монроза

«Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры» и заметки историка-постструктуралиста Х.Уайта «По поводу "нового историзма"», впервые вышедшие в цитируемом выше сборнике «The New Historicism», были опубликованы С.Л.Козловым в № 42 «Нового литературного обозрения».

В России новый историзм оказался представлен фактически лишь в нескольких работах А.М.Эткинда, – филолога и психолога по образованию, культуролога по основному направлению деятельности и, как и С.Л.Козлов, активного культуртрегера. Главная направленность культуртрегерской работы А.М.Эткинда в 1990-е годы – прививание российской гуманитарной сфере интереса к психоаналитическим и социологическим исследованиям (это проявилось, в первую очередь, в книгах «Эрос невозможного: Развитие психоанализа в России» (1993, переизд. 1994), «Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века» (1995), «Хлыст (Секты, литература и революция)» (1998)). В 1998 году И.П.Смирнов инициировал его на написание статьи, в которой бы делалась попытка подобной прививки на русской почве нового историзма (см. об этом: [Эткинд 2001a: 103]). Была написана статья-манифест «Новый историзм, русская версия» [Эткинд 2001b], которую А.М.Эткинд принес в «Новое литературное обозрение», а С.Л.Козлов спустя два года напечатал (в № 47) вместе с заметками по поводу нее И.П.Смирнова («Новый историзм как момент истории») и С.Н.Зенкина («Филологическая иллюзия и ее будущность»), а также резко-полемического отклика Б.В.Дубина и Л.Д.Гудкова «Раздвоение ножа в ножницы, или диалектика желания». Эту подборку можно было бы воспринимать лишь как очередную полемику на страницах «Нового литературного обозрения», но для С.Л.Козлова, в 1998 году собиравшего материалы для публикации, она оказалась важной по одной причине: статья А.М.Эткинда была написана в стиле интеллектуального письма.

Чтобы понять те принципы, по которым С.Л.Козлов собирался адаптировать российскую филологию к новому историзму, необходимо вернуться к № 42, к подборке «"Новый историзм"», точнее, к предваряющей

ее статье С.Л.Козлова «На rendez-vous с "новым историзмом"» [Козлов 2000b].

Прежде всего, новый историзм оказывается представлен одновременно в двух ипостасях: и как научное течение, и как общий метаязык американской филологической теории: «Сегодня этим языком, пассивно или активно, владеет большинство русских литературоведов-профессионалов. Однако вряд ли многие из них (за исключением людей, глубоко включенных в западный контекст) возьмутся дать узкоспециальное определение самого этого языка. <…> Цель ее (настоящей подборки. – *Н.П.*) – сообщить читателю, как называется тот язык – или, точнее, парадигма, породившая тот язык, – которым читатель уже и так владеет. Речь идет, далее, о том, чтобы разъяснить читателю суть этой парадигмы. И наконец, речь идет о том, чтобы оценить перспективы взаимодействия этой парадигмы с русским литературоведением» [Козлов 2000b: 6]. Поскольку в качестве примеров терминологии этого метаязыка называются такие понятия, как «*дискурс, репрезентация, визуализация, культурная метафора*» [Козлов 2000b: 6], то можно говорить, что под видом нового историзма С.Л.Козлов пропагандирует предельно общий категориальный аппарат американской и европейской постструктуралистской (и отчасти структуралистской) гуманитарной науки второй половины XX века. Эта практика создания концептуального базиса похожа на ту, которая применялась Московским кружком в 1956–1962 годах для создания «большой парадигмы» Структурализма.

Далее С.Л.Козлов представляет несколько филологов и культурологов, работающих в американской славистике, методика которых, по его мнению, близка (если не вовсе идентична) методике нового историзма: «Новейшие работы таких исследователей, как Ирина Паперно, Виктор Живов, Светлана Бойм или Эрик Найман, до конца не понятны, если не иметь в виду проблемный контекст "нового историзма". И речь вовсе не идет о полном личном самоотождествлении того или иного русиста с "новым историзмом"

как направлением: такое самоотождествление содержит слишком много социально-политических импликаций (они хорошо описаны в статье Луи Монроза). Речь идет о признании проблем, выдвинутых "новым историзмом", и о признании того языка – в сущности, теперь уже языка эпохи, – на котором эти проблемы формулируются» [Козлов 2000b: 8]. Все четыре упомянутых имени связаны с применением социологических практик при анализе текстов литературы и культуры; здесь также происходит расширение рамок нового историзма – теперь он предстает заместителем всего социологического поворота в мировой гуманитарной сфере. Кроме того, стоит заметить, что первые два имени тесно связаны с Тартуско-Московской школой.

Все эти преувеличения, превращающие рядовое, хотя и довольно известное, филологическое течение в обширный междисциплинарный идеал постструктуралистской гуманитаристики, – это не ошибки или недопонимания со стороны С.Л.Козлова сущности нового историзма. Это и не попытка нащупать наиболее подходящий концептуальный аппарат для осмысления непонятного феномена. Это сознательная стратегия выстраивания из обычной гуманитарной практики – новой универсальной «большой парадигмы», которая вобрала бы в себя все актуальные зарубежные теории, сплавив их со значимыми элементами Структурализма и Семиотики (понимаемые как единый феномен и отождествляемые по преимуществу с теорией Ю.М.Лотмана). С.Л.Козлов пытается здесь заложить фундамент нового гуманитарного мировоззрения.

Для этого, как уже говорилось выше, нужно обозначить точки опоры в предшествующей российской традиции: «Разумеется, можно отвергнуть и проблемы, и язык. Вот здесь и встает вопрос о соотношении между "новым историзмом" и русской гуманитарной наукой» [Козлов 2000b: 8]. Если основная опора – Ю.М.Лотман, то главное препятствие С.Л.Козлов видит в наследии формальной школы, олицетворенной в Ю.Н.Тынянове: для утверждения междисциплинарности необходимо преодолеть

спецификаторство, характерное для российской филологии со времен формализма и не позволяющее выходить за пределы литературного ряда: «Приходится (с глубокой личной печалью и ностальгией) признать, что тыняновская парадигма вообще, как кажется, плохо совместима с сегодняшними гуманитарными задачами. Дело не в изменившейся моде – дело в изменившейся жизни и изменившихся интересах. Но если русский филолог готов оставить Тынянова в стороне, то дальше дорога облегчается. Потому что дальше он подходит к воротам, на которых написано: "Историчность текстов и текстуальность истории"» [Козлов 2000b: 8–9].

Из четырех главных лозунгов нового историзма С.Л.Козлов легко находит три – «историчность текстов», «текстуальность истории» и «поэтика культуры» – в творчестве Ю.М.Лотмана 1970–1980-х годов. Действительно, это одни из постулатов, на которых базировалась Семиотика. Но С.Л.Козлов строит свою «большую парадигму», ориентированную не только культурологически и текстоцентрично (т.е. ориентированную на семиосферу), но и социологически, поэтому он сразу предупреждает: «В какой-то момент rendez-vous с "новым историзмом" может показаться русскому гуманитарию блаженным возвращением в 70-е годы. "Историчность текста", "текстуальность истории", "поэтика культуры" – все это более чем устраивает русского гуманитария. Но блаженный комфорт будет недолог. Он кончится в ту минуту, когда русский гуманитарий столкнется с четвертым главным слоганом "новых истористов" – "политика культуры"» [Козлов 2000b: 10].

Здесь С.Л.Козлов видит резкое расхождение новых истористов с Ю.М.Лотманом: притом что в его концепции присутствует определенный марксистский субстрат, но основы марксизма – 11-го тезиса К.Маркса о Л.а.Фейербахе «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его» – у Ю.М.Лотмана нет: «Лотман был слишком сложной и динамичной личностью, чтобы нам делать в этой заметке однозначные выводы: сколько, когда и какого марксизма в нем было.

Но все же кажется, что зрелому Лотману этот изначальный фермент марксизма был глубоко чужд. Так или иначе, фрейдистский вариант той же самой стратегии – разоблачить, чтобы преобразовать – отвергался им абсолютно. <…> Именно это "в громадной степени развитое интеллектуальное целомудрие" образует, вероятно, самый важный барьер между русскими гуманитариями и "новым историзмом". Оно полностью исключает всякую возможность того самообнажения исследователя, той постановки себя в позиции визави к тексту, на которой так настаивает Монроз во имя тотальной историзации. Для Монроза такое самообнажение означает интеллектуальную честность, для русских филологов – интеллектуальную нечестность» [Козлов 2000b: 10–11].

Резюмирует свое рассуждение С.Л.Козлов следующим образом: «Что же касается взаимодействия с "новым историзмом", то картина довольно ясна: имеются очень важные моменты близости и столь же важные моменты противостояния. Участки близости скорее связаны с выбором материала и методики исследования, участки противостояния – с позицией и пафосом исследователя. Но в любом случае именно "новый историзм" будет в ближайшее время оставаться единственно возможным полем для взаимодействия русской и американской науки о литературе. Полем постепенной взаимной диффузии и креолизации двух научных языков – а точнее, дискурсов» [Козлов 2000b: 11]. Здесь вновь происходит смешение – на этот раз двух стратегий самого С.Л.Козлова. С одной стороны, в финале еще раз подчеркивается, на первый взгляд, только лишь культуртрегерская задача статьи «На rendez-vous с "новым историзмом"». С другой стороны, прослеживается четкая тенденция: российские гуманитарии могут не отказываться от привычных методик анализа во имя чуждых для них зарубежных исследовательских практик; не порывать резко с филологией ради болезненного перехода в несформированное в России смутное пространство междисциплинарности (достаточно лишь не замыкаться в спецификаторстве). Нужно просто принять новое мировоззрение («позицию

и пафос исследователя»), быть психологически готовым к подобным сменам и переходам – в целом быть открытым к восприятию новых идей и нового языка, а следовательно, и к органичному принятию новой «большой парадигмы».

Тем не менее российское гуманитарное сообщество оказалось не готово принять программу С.Л.Козлова. К этому его проекту большинство филологов отнеслось так же равнодушно, как и к предыдущим начинаниям. Манифест А.М.Эткинда «Новый историзм, русская версия», от которого следовало ожидать подкрепления, намерениям С.Л.Козлова резко противоречил. Его начало демонстрировало явный отказ от каких бы то ни было «больших парадигм»: «Как бы ни называть нынешнюю интеллектуальную ситуацию – пост-марксизм, пост-структурализм, пост-модернизм, пост-апокалипсизм, – за всем этим стоит недоверие к большим историям, радикальным теориям, привилегированным точкам зрения. Интересен отдельный момент, текст, индивид; и если раньше это понимали только писатели, то теперь это понимают филологи. <…> В американских работах не раз утверждалось, что новый историзм генетически и эпистемологически связан с прагматизмом, который объявляет вопросы о "правде" не имеющими ответа и ненужными. Речь идет не только о невозможности тотального объяснения, но и о невозможности финального понимания частного случая, о недостижимости такой интерпретации, которая остановила бы чтение, и о недейственности априорных схем. В русском контексте новый историзм может выглядеть просто возвращением к историческому материалу, к здравому смыслу, к детали: к тому, что всегда было увлекательно в истории и, в частности, в истории литературы. Не снимая с филолога задачу нового, интересного, сильного чтения, он отрицает возможность окончательной, истинной интерпретации и одного, доминирующего метода» [Эткинд 2001b: 7, 11].

Очевидно, для А.М.Эткинда новый историзм – своего рода свободное эссеистическое письмо, предполагающее эвристическое познание своего

объекта (как в сфере искусства и в ряде философских течений) с использованием определенного категориального аппарата (как в гуманитарных науках); фактически – культурологическая критика постструктуралистской направленности. Его справедливо можно называть интеллектуальным письмом – этот жанр, находящийся на стыке художественного творчества и науки и уже в силу этого обладающий серьезным познавательным потенциалом, в российской культуре не развит, и статья А.М.Эткинда могла бы оказаться хорошим образцом для подражания. Но этого не случилось в силу трех причин.

Во-первых, А.М.Эткинд подавал себя именно как человека науки, противореча всей направленности собственного манифеста. Ср. верный анализ этого противоречия Д.Р.Хапаевой: «Камнем преткновения на пути формирования нового дискурса и нового интеллектуального поля остается дефицит новых слов и новых понятий. Например, приверженность понятию "наука" мешает переосмыслить задачи творчества. В самом деле, можно ли продолжать называть наукой такую форму творчества, которой чужды все фобии социальных наук – боязнь предстать идеологией, выглядеть "необъективной" и зависимой от окружающего мира? Но как быть, если для ее обозначения не находится других слов?» [Хапаева 2005: 172].

Во-вторых, в тексте А.М.Эткинда силен упор на психоаналитическом дискурсе. В условиях широкого распространения в российской гуманитарной сфере «интеллектуального целомудрия» и недоверия к «фрейдизму», о которых предупреждал С.Л.Козлов в № 42, такая позиция вызвала резкое отторжение: Б.В.Дубин и Л.Д.Гудков обвинили А.М.Эткинда в опасном постмодернистском вторжении в науку, в пропаганде дешевой поп-науки и интеллектуального бриколажа [Гудков, Дубин 2001]. (Анализ полемики Б.В.Дубина и Л.Д.Гудкова с А.М.Эткиндом как спора о научности филологии в целом и того варианта теории, который он предлагает в своем манифесте, в частности – см. подробнее в статье С.Н.Зенкина «Филология в спорах о научности» [Зенкин 2001]).

В-третьих же, само восприятие интеллектуального письма А.М.Эткинда было деформировано в результате того, что эта статья оказалась связана с программой, которая была ей абсолютно чужда. Так вышло, что американский новый историзм в одно и то же время заинтересовал двух российских гуманитариев и культуртрегеров, и они в силу аморфности концептуального аппарата этого течения увидели в нем возможность для реализации диаметрально противоположных стратегий. Из-за того, что был выбран один и тот же ярлык «новый историзм», глубинная разница между этими стратегиями не была вовремя отрефлексирована. В результате интеллектуальное письмо, за прививку которого на российской почве все 1990-е годы ратовал С.Л.Козлов и пример которого успешно реализовал А.М.Эткинд, оказалось встроено в рамки разрабатываемой «большой парадигмы», основные структурные принципы которой резко противоречили интеллектуальному письму как жанру.

То, что С.Л.Козлов не хотел видеть это противоречие, выглядит тем более странно, если вспомнить, что еще в 1996 году, рецензируя книги А.М.Эткинда «Эрос невозможного» и «Содом и Психея», он верно описал их как примеры не столько академической науки, сколько «интеллектуального романа», точно уловив все особенности:

«Термин "интеллектуальный роман" был изобретен в 1924 году Томасом Манном. Интеллектуальный роман – это не роман для интеллектуалов, а культурно-историческая эссеистика, вызывающая всеобщий интерес (Томас Манн придумал этот термин, говоря о "Закате Европы" Шпенглера). В Советском Союзе 70–80-х годов подобную роль играли книги Эйдельмана и Лотмана. В России 90-х годов самые блестящие интеллектуальные романы пишет Александр Эткинд. <…> Интеллектуальный роман можно написать едва ли не о чем угодно: можно о Святом Граале, а можно об истории гигиены. Жанрообразующим моментом тут является не материал, а подход к материалу, способ его обработки – короче, стиль. Лексикон и синтаксис остаются личным делом автора. Важно

другое. Автор должен взломать рамки восприятия объекта, принятые в кругу специалистов, и рассмотреть материал с "общечеловеческой" точки зрения. "Общечеловеческая" точка зрения всегда расположена дальше от объекта, чем точка зрения специалиста, и потому дает больший угол обзора: объект становится виден в гораздо более широком контексте. С "общечеловеческой" позиции специалист всегда оказывается близорук; с позиции специалиста "общечеловеческая" точка зрения всегда оказывается либо "дилетантской" (если результат исследования отвергается), либо "междисциплинарной" (если результат принимается). <…> В этом отношении он (А.М.Эткинд. – *Н.П.*) отличается от большинства своих сверстников и "старших братьев" (нынешних 40 – 50-летних) и напоминает авторов, широко заявивших о себе в 60-е годы: Аверинцева, Баткина, Гуревича, Лотмана, Чудакову, Эйдельмана – короче, всех тех, кто вопреки цензурному давлению поставлял интеллектуальные романы образованной публике в брежневскую эпоху. Разница между ними и Эткиндом состоит, разумеется, в тематике, разумеется, в гораздо большей прямоте высказывания, но, кроме того, – в методологии анализа. Сегодняшний инструментарий Эткинда представляет собой привычную на Западе, но все еще редкую (и потому особенно ценную) в России комбинацию из психоанализа, интертекстуального анализа и исторической социологии. <…> Итак, книги Эткинда в равной мере рассчитаны на восприятие специалистов и на широкую аудиторию. В столь же равной мере они рассчитаны и на русского, и на западного читателя. ("Эрос невозможного" уже издан по-французски и по-немецки, переводится на английский и шведский, можно не сомневаться, что последуют и другие переводы.) Такая двусторонняя ориентация называется "двойное кодирование" и является, вероятно, самым известным программным принципом постмодернизма. <…> Эткинда никак не назовешь циником: он – скептик. Он подыскивает подходящие инструменты для объяснения странных и пугающих фактов, но он не верит в универсальные объяснения и универсальные доктрины. Он избегает слова "постмодернизм", предпочитая

другое слово: "постмодерн". Постмодерн по Эткинду – мирное рыночное сосуществование разнообразных культурных возможностей, каждая из которых имеет ограниченную сферу применения» [Козлов 1996: 69–71].

Итак, здесь уже видны все точки схождения и расхождения как методики А.М.Эткинда с будущим проектом С.Л.Козлова, так и интеллектуального письма с теориями социологического поворота (при котором постструктурализм ищет строго-научные обоснования своей деятельности и в поисках категориального аппарата обращается, как некогда структурализм, к точным наукам – в данном случае социальным).

Однако в 2000–2001 годах С.Л.Козлов, строя свою «большую парадигму», видел другую картину. Была заявлена общая универсалистская концепция российского нового историзма, под нее был подведен предельно широкий категориальный аппарат, объект исследования оставался, в общих чертах, тем же, что и у Ю.М.Лотмана, а теперь появился и манифест, демонстрирующий работу новоисторического метода и одновременно утверждающий междисциплинарность исследований. Все предпосылки для создания «большой парадигмы» были налицо – оставалось ждать конкретных результатов.

VII.

В том же 2001 году вышел первый юбилейный номер «Нового литературного обозрения» – № 50, подводящий «промежуточные итоги» развития собственных стратегий и эволюции российской филологии в 1990-е годы в целом. Как было заявлено в программном введении, «<…> потому неслучайно доминантой этого выпуска "НЛО" стал анализ современного состояния филологии в широком контексте социальных и интеллектуальных новаций, вызванных революцией 1991 года» [Прохорова 2001: 7]. Рассмотрение всех аналитических материалов, разумеется, не входит в задачи данной работы, но имеет смысл сопоставить два из них: развитие новоисторической стратегии С.Л.Козлова и позицию И.Д.Прохоровой. Это сопоставление любопытно тем, что в тот период И.Д.Прохорова, в отличие от

№ 100, еще не предполагала пропаганды от имени всего журнала выстраивания различных «больших парадигм». Наоборот, по ее мнению, динамика развития российской гуманитарной сферы в 1990-е годы, становление внутри нее принципов междисциплинарности и даже формирование нового мировоззрения обусловлены именно отказом от объединения в замкнутые школы со своими общеидеологическими конструктами: «Нам представляется, что активное нежелание российских гуманитариев в 1990-х годах теоретизировать, идеологизировать, создавать устойчивые объединения и группировки было обусловлено не деградацией профессиональной среды, а той самой демократизацией общества, когда резкое расширение горизонта жизненного и научного познания, необходимость адаптации к существованию в мире революционных информационных технологий и острое осознание узости традиционных внутридисциплинарных границ для решения новых задач менее всего способствовали замыканию в обособленные кланы с их неизбежными авторитарными мэтрами, строгой иерархией и страшными клятвами верности единственно верному учению. В течение десятилетия шла невероятно интенсивная, хотя и не очень заметная извне работа по созданию новых независимых институций гуманитарной мысли (прежде всего периодики и издательств), по акцептации крайне разнообразной современной западной и ранее запрещенной отечественной мысли, по выработке новых навыков и сфер профессиональной деятельности и, не в последнюю очередь, нового мировоззрения» [Прохорова 2001: 7–8].

Стратегия же С.Л.Козлова в том же номере, по сути, противоположна прохоровской: она основана на том, что в формировании «большой парадигмы» нового историзма достигнут первый ощутимый успех: сформировалась единая исследовательская группа.

С.Л.Козлов так описывает это событие: «<…> впервые за весь постреволюционный период (т.е. после 1991 года) в отечественной русистике что-то произошло. Все, что имело место до этого, описывалось терминами

"вышла еще одна статья / книга А, В или С" (либо же, для ряда значимых случаев, "опять не вышла книга исследователя D, E или F"), "наконец-то вышло комментированное издание писателя G", "идет нормальная исследовательская, комментаторская, эдиционная работа" – в общем, "все было нормально", то есть не происходило ничего (по-другому это называется рутиной). Единственным исключением на этом общем фоне были дебютные книги все того же Александра Эткинда, знаменовавшие появление в русской гуманитарии нового (или хорошо забытого старого) типа гуманитарной речи, – но один изолированный автор, до поры до времени обходившийся без методологических деклараций, все-таки не делал погоды. Ситуация качественно изменилась, когда, с одной стороны, три книги Эткинда, вышедшие в 90-х годах, дополнились его темпераментным методологическим манифестом и, с другой стороны, рядом с работами Эткинда встали <…> книги Проскурина и Зорина. Tres faciunt collegium: впервые за очень долгое время в отечественной русистике – нет, не заявило о себе новое научное движение (подобная оценка была бы совершенно неадекватной, в силу причин, о которых мы коротко скажем ниже), но, по крайней мере, наметилась сколько-нибудь связная методологическая тенденция, обрисовался какой-то, при желании различимый, новый гештальт» [Козлов 2001а: 115].

Книги А.Л.Зорина и О.А.Проскурина, которые упоминаются в приведенной цитате, – это «Кормя двуглавого орла…» [Зорин 2001] и «Литературные скандалы пушкинской эпохи» [Проскурин 2000][53]. В стилистике обеих из них есть элементы интеллектуального письма.

С.Л.Козлов выделяет несколько параметров, по которым относит названных трех авторов к новому историзму, и первым объявляется следующий: «Исходным материалом для анализа и у Проскурина, и у Эткинда, и у Зорина в значительной мере (как минимум, процентов на

[53] Об отношении А.Л.Зорина и О.А.Проскурина к новому историзму см. подробнее в параграфах об А.Л.Зорине и О.А.Проскурине.

пятьдесят) является литература. Но не литература является предметом их исследования. Предметом для всех троих является, очень грубо говоря, *связь литературы с жизнью.* Здесь уже обнаруживается первый важный момент сходства – момент негативный: и Эткинд, и Зорин, и Проскурин *отказываются видеть в литературе самостоятельный предмет исследования.* Это значит, что они отказываются от того "спецификаторского" (или, говоря более отчужденно, "изоляционистского") подхода, идею которого отстаивали в тяжелой борьбе русские формалисты и который – в двух альтернативных вариантах – культивировался в позднесоветскую эпоху и официальным литературоведением (в его основном массиве), и литературоведением неофициальным» [Козлов 2001a: 116]. Все три автора действительно отказываются от спецификаторского подхода и в той или иной степени приходят к междисциплинарности. Об А.М.Эткинде уже говорилось выше; причины, по которым это делают А.Л.Зорин и О.А.Проскурин, см. в посвященных им параграфах. Здесь стоит только заметить, что одной из побудительных причин для них было стремление к пересмотру основ теории Тартуско-Московской школы. С.Л.Козлов верно обозначил это как отказ от того подхода, который «культивировался <…> и литературоведением неофициальным».

Следующий пункт сходства, наоборот, сближает трех авторов с Семиотикой Ю.М.Лотмана. А.М.Эткинд, рассуждая о специфике нового историзма, провозгласил: «Мы находимся во внутреннем пространстве квадрата, сторонами которого являются история, идеология, творчество и повседневность» [Эткинд 2001b: 8]. Схожие аспекты исследования С.Л.Козлов видит и у О.А.Проскурина с А.Л.Зориным:

«Итак, в случае Проскурина поле для исследования задано категориями: Литература (= Творческий Вымысел) – Литературная полемика (корпус полемических текстов) – Литературный быт (= Писательские Взаимоотношения) – Биография – Политика.

В случае Зорина поле для исследования задано категориями: Литература (= Профессиональное метафоропроизводство) – Идеология (государственная) – Биография – Политика (государственная).

Сравним с этим наиболее общую дефиницию исследовательского поля, которую выдвигает в своем манифесте Эткинд <…>» [Козлов 2001а: 118].

После этого идет сопоставление с концепцией Ю.М.Лотмана: «В русской науке новые пути для осмысления связей между литературой и жизнью были намечены – повторим общеизвестное – Ю.М.Лотманом еще в начале 1970-х годов. В статьях о семиотике поведения Лотман на ярких примерах прочертил обратную траекторию – от литературы к жизни. Литература представала здесь как источник сценариев повседневной жизни. В статье "О Хлестакове" Лотман убедительно обосновал и другую, очень многообещающую концепцию: литература и биография мыслятся как равноправные манифестации той или иной исторически определенной культуры. Это походило бы на реанимацию духовно-исторического метода, если бы Лотман не применил и к литературе и к жизни понятие "текста" в качестве универсальной объяснительной модели. В результате появилась возможность уйти от импрессионизма, свойственного духовно-историческому методу. Теперь и литературный, и исторический материал можно было описывать гораздо более строгим и детализированным образом, прибегая к структурно-лингвистическим и структурно-риторическим схемам анализа. При этом нельзя не отметить очевидного: жизнь уравнивалась в правах с литературой, но уравнивание это происходило за счет уподобления жизни литературе, а не наоборот» [Козлов 2001а: 119].

С.Л.Козлов, конечно, прекрасно понимает, что опорные точки, подобные тем, что выявлены в трудах трех авторов, можно найти в большинстве отечественных и зарубежных историко-литературных трудов второй половины XX века, если только их исследовательский масштаб достаточно широк. Тем не менее он сознательно идет на такое сопоставление, атрибутируя сходства между А.Л.Зориным,

О.А.Проскуриным и А.М.Эткиндом их принадлежностью к новому историзму: ему необходимо развить альтернативную лотмановской и в то же время наследующую ей «большую парадигму», а будет ли она отождествляться с американским новым историзмом или с чем-либо иным, не столь важно. Позже социолог Д.Р.Хапаева заметит по этому поводу: «Показательно, что побудительным мотивом для написания Козловым статьи о "наших новых истористах" было не восхищение теорией, а жажда события в "сообществе" <…>» [Хапаева 2005: 156]. Далее она цитирует слова самого С.Л.Козлова из взятого ею интервью: «Наконец-то в русском литературоведении что-то произошло. Я не был в энтузиазме от нового историзма, я был в энтузиазме от того, что что-то наконец произошло. <…> Тем, что ничего не происходит, объясняется то, что малейшее сотрясение среды вызывает реакцию» [цит. по: Хапаева 2005: 157].

Подобное равнодушие к тому, что, казалось бы, и является продуктом методологической пропаганды, обусловило и то, что в процессе приписывания трех авторов к новому историзму С.Л.Козлов апеллирует к Ю.М.Лотману, который был значим только для С.Гринблатта (причем лишь наряду с другими теоретиками), но не для Л.Э.Монроза и прочих новых истористов, и то, что принципы нового историзма, и без того расплывчатые, можно трансформировать в соответствии с текущей ситуацией. А ситуация такова: из четырех лозунгов американского нового историзма лишь один не имел аналога на российской почве и, как понимал в № 42 С.Л.Козлов, должен приживаться медленно и трудно, – «политика культуры», лозунг, необходимый для стирания дисциплинарных границ между филологией и социологией и для увязывания разрабатываемой «большой парадигмы» с общемировым социологическим поворотом. Все три автора размышляют на тему «политики культуры», «связи литературы с жизнью», однако пафос у них при этом совсем не тот, что у марксистски настроенных американских новых истористов: «Американский "новый историзм" и его английское ответвление были с самого начала насквозь проникнуты просветительско-

марксистским пафосом: разоблачения социальных иллюзий. И выбор материала, и стратегия анализа – все определялось установкой на демистификацию властных отношений, на выявление вездесущих механизмов господства – подчинения» [Козлов 2001а: 124]. Для американского нового историзма (если вспомнить определение его особенностей по Х.А.Визеру) именно такой пафос принципиален. Поэтому С.Л.Козлов прибегает к неожиданному приему: чтобы удобнее вписать новый историзм в оставшиеся после Тартуско-Московской школы категории, он напоминает об особенности российской рецепции западных идей – перетолковывать их со сменой ценностных ориентиров на противоположные: «<…> как мы знаем, при имплантации на российскую почву практически всякий западный конструкт меняет функцию. <…> Этот закон перемены знака <…> не мог не коснуться и такого импортного продукта, как русский "новый историзм"» [Козлов 2001а: 124]. Апелляция к уникально-российской рецепции позволяет отнести по крайней мере О.А.Проскурина и А.М.Эткинда (А.Л.Зорин от выражения собственной идеологической позиции уклонился) к разрабатываемой С.Л.Козловым «большой парадигме», а американский новый историзм (за исключением С.Гринблатта) отбросить как более ненужный:

«Главное сходство Эткинда с Проскуриным определяется их антиэгалитарным пафосом. Им интересны не массы, а уникальные личности. Не низы общества, а его верхи. Не муки обездоленных, а творчество избранных: и Эткинд, и Проскурин слишком хорошо знают, что "обездоленные" – бессмысленны и беспощадны, равно как и "избранные" – далеко не баловни судьбы. Короче, своими книгами Эткинд и Проскурин символически восстанавливают в правах не безмолвное большинство, а творческое меньшинство. Они защищают элиту от массы, как культурное от природного. Это действительно *русская* версия "нового историзма".

(В свете этого неудивительно, что адаптируя "новый историзм" для России, Эткинд столь мало опирается на работы Монроза: Монроз, со всей

своей программной четкостью, делал упор именно на политическом значении американского "нового историзма". Более приемлемыми для русской адаптации выглядят работы Гринблатта: они и более интересны по сути, а в своих методологических декларациях Гринблатт менее ангажирован политически)» [Козлов 2001а: 126].

В результате новый историзм из движения, течения или хотя бы метода превращается в интеллектуальное письмо, т.е. редуцируется только лишь к специфическому стилю и жанру: «Мало того, что "новый историзм" – это совсем не дисциплина. "Новый историзм" – это даже не совсем метод, бывают методы и построже: метод здесь оказывается редуцирован до самого необходимого минимума (выделение общих междисциплинарных границ исследовательского поля и конструирование – в самом общем виде – инвариантного предмета исследования). Пожалуй, единственное обязательное правило поведения на этом поле вытекает из принципа "текстуальности истории": ты имеешь дело с историческими людьми, выражающими себя и свои интересы в текстах (текстах самой разной природы), и ты сам – не трансцендентальный субъект познания, а исторический человек, прямо присутствующий в своем тексте (тексте, который ты пишешь о других людях). <…> Это можно было бы назвать публицистикой, если бы ты <…> не имел прав на применение сколь угодно широкого спектра эзотерических концептов и мыслительных приемов (и сколь угодно большого количества примечаний и архивных ссылок). Для гуманитарного сознания, сформировавшегося под тоталитарным гнетом, слово "публицистика" (как и любые однокоренные слова) всегда рефлекторно связывается с понятиями "примитивность" и "грязь". Такая расстановка жанров и смыслов несовместима с "новым историзмом": либо она его подавит, либо он – ее» [Козлов 2001а: 128].

Надо сказать, что С.Л.Козлов честно прошел весь путь рефлексии над возможностью использования нового историзма при разработке оригинальной «большой парадигмы» до конца. Ради формирования общего

концептуального аппарата «большой парадигмы» он отказался от разграничения движений и выбрал наиболее компилятивное по своей структуре, к которому редуцировал практически весь постструктурализм и социологический поворот. Ради сохранения актуальных для него элементов Семиотики Ю.М.Лотмана он вывел за рамки «своего нового историзма» новый историзм американский. Ради утверждения специфики и повышения гибкости получившегося конструкта, а также преодоления лотмановского сциентизма он отринул почти все методологические постулаты и свел всю «большую парадигму» к интеллектуальному письму. Беда оказалась в том, что (как показывалось выше) интеллектуальное письмо по самой своей природе несовместимо с «большими парадигмами». Последовательно редукционистская деятельность С.Л.Козлова оказалась в данном случае гибельной для его проекта.

Ни к новому историзму, ни к разработкам иных «больших парадигм» С.Л.Козлов больше не возвращался (во всяком случае, на данный момент). Сциентистское направление в сторону сближения гуманитарных и социальных наук и антисциентистское направление в сторону интеллектуального письма он разрабатывал в дальнейшем по отдельности, не пытаясь их вновь соединить. Фактически он стал следовать примеру итальянских микроисториков Э.Гренди, Дж.Леви и К.Гинзбурга, которые развели обе эти тенденции, а объединенный этап развития своего течения посчитали завершившимся.

В результате тот разнородный концептуально-методологический комплекс, который принято называть «наследие Тартуско-Московской школы», вновь остался во многом неотрефлексированным, а его потенциал – актуализированным и использованным лишь отчасти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как было показано в данной работе, российский структурализм с самого начала (т.е. с 1956–1958 годов) представлял собой не некое единое течение, а сложный континуум. Уже на наиболее раннем этапе, еще до начала складывания Тартуско-Московской школы (т.е. до первой Летней школы по вторичным моделирующим системам в 1964 году), можно выделить ряд направлений, по-разному понимавших, что должен представлять собой структурализм. Это и мировоззренческая «большая парадигма», структурирующая мир с помощью универсального генерализирующего метода (Московский кружок), и научное течение, осмысляющее свой объект как динамическую систему уникальных семиотических сущностей (концепция Ю.М.Лотмана), и развивающая некоторые идеи формальной школы поэтика выразительности (теория А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова), и просто статистические методики анализа текста, в частности стихотворного (труды А.Н.Колмогорова и М.Л.Гаспарова). Главными же определяющими чертами, которые объединили все эти тенденции и позволили последователям даже наиболее разнородных из них объединиться в единую Тартуско-Московскую школу, были стремление к строгой научности и точности методов и представление о своем объекте как о системе дифференциальных признаков, аналитически познаваемых и складывающихся в определенную иерархию, – т.е. как о структуре.

Начальный этап формирования этого континуума (1956–1964 годы) и некоторые определяющие черты входящих в него направлений рассматриваются в первой главе настоящей работы.

Во второй главе ставится проблема переосмысления концепций Тартуско-Московской школы в 1990–2000-е годы; в качестве примеров возможных переосмыслений взяты научные методы А.Л.Зорина, О.А.Проскурина, Р.Д.Тименчика и стратегия С.Л.Козлова на посту заведующего отделом теории журнала «Новое литературное обозрение».

Чтобы подвести промежуточные итоги (ибо настоящее исследование представляет собой лишь предварительную попытку комплексного изучения этого феномена), необходимо еще раз сказать о наследии российского структурализма. Его наследие актуально и в настоящее время (или, по крайней мере, нуждается в реактуализации) как важный этап развития российской филологической науки XX века (и – шире – гуманитарной сферы в целом), представивший широкий спектр методик анализа и исследовательских оптик. В то же время существует необходимость критического пересмотра сторон, которые в силу тех или иных причин не могли быть предметом рефлексии старшего поколения Тартуско-Московской школы: более четкого определения категориального аппарата и осмысления позиций внутреннего и внешнего наблюдателя. Разумеется, подобное требование модернизации не означает какого бы то ни было признания «недееспособности» или «узко-ограниченной употребимости» методологии российского структурализма. Наоборот, сама идея модернизации предполагает насущную необходимость и широкую значимость структурализма в нынешнюю эпоху – свидетельством чего могут служить работы крупных современных гуманитариев (некоторые из них были рассмотрены во второй главе), для которых наследие Тартуско-Московской школы по-прежнему актуально.

Отдельный, не менее актуальный вопрос – связи этого наследия (в первую очередь наследия Ю.М.Лотмана, но, разумеется, не только его) с современной ситуацией социологического (или антропологического) поворота, о которой вкратце говорилось в дополнении к параграфу о Ю.М.Лотмане и в параграфе о С.Л.Козлове. То, что эти связи есть, – несомненно. Переход участников Тартуско-Московской школы к исследованиям на стыке филологии и социологии, антропологии, культурологии и др., начатый Ю.М.Лотманом, оказался идентичен движению в западной гуманитарной сфере от структурализма к постструктурализму в широком смысле. Позднейшие исследования младших участников школы

осмыслялись ими самими в 1990–2000-е годы как отход от структурализма (особенно ярко это проявилось в лингвистике, на которую первоначально семиотика оказывала сравнительно небольшое воздействие: теория речевых регистров В.М.Живова, когнитивная лингвистика Б.М.Гаспарова и др.). Наконец, постструктуралистский журнал «Новое литературное обозрение» стал выстраивать свою научную стратегию как реализацию социологического поворота во всем его многообразии в современной российской гуманитарной сфере. Все эти тенденции, однако, существовали и существуют в неразрывной связи с наследием Тартуско-Московской школы, не отказываясь от него, а пытаясь его модернизировать и трансформировать в соответствии с требованиями времени.

Также назрела необходимость рассмотрения «больших парадигм» Структурализма и Семиотики – не только как феноменов в истории науки, но и как явлений эпохи в целом. Имеет ли смысл создавать на их основе новые универсальные методы[54] и новые «большие парадигмы»[55], – вопрос, заслуживающий отдельного обсуждения; однако в любом случае требуется критическая рефлексия над собственным инструментарием и тем, что обуславливает его выбор.

Не надо также забывать о значимости методологического и мировоззренческого анализа рассмотренных в настоящей работе концепций для изучения истории литературы. Поскольку метод конструирует свой объект, нужно четко осознавать все особенности выбранной методологии ради более эффективного анализа литературного процесса и построения дисциплины «история литературы». А для этого необходимо глубокое исследование такого феномена, как российский структурализм (и российская семиотика), – направления, которое дало, пожалуй, наиболее строгую и детализированную разработку категориального аппарата во всей российской гуманитарной науке XX века.

---

[54] См. параграф о Р.Д.Тименчике.
[55] См. параграф о С.Л.Козлове.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Автономова 2008 –** *Автономова Н.С.* Бахтин и Лотман: На подступах к открытой структуре… // Культурология: Дайджест. 2008. № 1 (44).
2. **Автономова 2009 –** *Автономова Н.С.* Открытая структура: Якобсон–Бахтин–Лотман–Гаспаров. М.: РОССПЭН, 2009.
3. **Азадовский 2006 –** *Азадовский К.* Бесконечность [Рец. на кн.: *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.–Toronto: Водолей Publishers, The University of Toronto, 2005] // Новое литературное обозрение. № 79 (2006).
4. **Аймермахер 1986/2001 –** *Аймермахер К.* К истории становления дескриптивной семиотики в России [1986] // *Аймермахер К.* Знак. Текст. Культура. М.: РГГУ, 2001.
5. **Амелин, Пильщиков 1993 –** *Амелин Г.Г., Пильщиков И.А.* Семиотика и русская культура // Новое литературное обозрение. № 3 (1993).
6. **Апресян 1962 –** *Апресян Ю.Д.* [Хроника научной жизни] // Вопросы языкознания. 1962. № 2.
7. **Багриновская, Кулагина, Ляпунов 1971 –** *Багриновская Г.П., Кулагина О.С., Ляпунов А.А.* О некоторых методологических вопросах, относящихся к машинному переводу // О некоторых вопросах теоретической кибернетики и алгоритмах программирования. Новосибирск: Сибирское отделение АН СССР, 1971.
8. **Бак 1995 –** *Бак Д.П.* Исповедь или автометаописание? [Рец. на кн.: Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994] // Новое литературное обозрение. № 11 (1995).
9. **Бурлакова et al. 1962 –** *Бурлакова М.И., Николаева Т.М., Сегал Д.М., Топоров В.Н.* Структурная типология и славянское языкознание // Структурно-типологические исследования. М.: Издательство АН СССР, 1962.
10. **Волоцкая et al. 1962 –** *Волоцкая З.М., Николаева Т.М., Сегал Д.М., Цивьян Т.В.* Жестовая коммуникация и ее место среди других систем

человеческого общения // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Издательство АН СССР, 1962.

11. **Гаспаров Б. 1989/1994 –** *Гаспаров Б.М.* Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен [1989] // Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

12. **Гаспаров Б. 1992/1998 –** *Гаспаров Б.М.* Почему я перестал быть структуралистом? [1992] // Московско-тартуская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.

13. **Гаспаров 1967 –** *Гаспаров М.Л.* Ямб и хорей советских поэтов и проблема эволюции русского стиха // Вопросы языкознания. 1967. № 3.

14. **Гаспаров 1988/1997 –** *Гаспаров М.Л.* Первочтение и перечтение. К тыняновскому понятию сукцессивности стихотворной речи [1988] // *Гаспаров М.Л.* Избранные труды. Т. II. О стихах. М.: Языки русской культуры, 1997.

15. **Гаспаров 1994 –** *Гаспаров М.Л.* Взгляд из угла // Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

16. **Гаспаров 1996 –** *Гаспаров М.Л.* Предисловие // *Жолковский А.К., Щеглов Ю.К.* Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. М.: Прогресс, 1996.

17. **Гаспаров 1997 –** *Гаспаров М.Л.* Ю.М. Лотман: наука и идеология // *Гаспаров М.Л.* Избранные труды. Т. II. О стихах. М.: Языки русской культуры, 1997.

18. **Гаспаров 2003 –** *Гаспаров М.Л.* Диалектика Лотмана // *Ким Су Кван.* Основные аспекты творческой эволюции Ю.М.Лотмана: «иконичность», «пространственность», «мифологичность», «личностность». М.: Новое литературное обозрение, 2003.

19. **Гаспаров 2004 –** *Гаспаров М.Л.* Научная «щель» // Свой путь в науке: Коллективный портрет ИВГИ. М.: РГГУ, 2004.

20. **Гаспаров 2006 –** *Гаспаров М.Л.* Семинар А.К.Жолковского – Е.М.Мелетинского: из истории филологии в Москве 1970–1980-х гг. // Новое литературное обозрение. № 77 (2006).

21. **Генкин 1962 –** *Генкин С.Е.* Числовой язык-посредник // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Издательство АН СССР, 1962.

22. **Гирц 1973/2004 –** *Гирц К.* Интерпретация культур [1973]. М.: РОССПЭН, 2004.

23. **Гудков, Дубин 2001 –** *Гудков Л., Дубин Б.* Раздвоение ножа в ножницы, или диалектика желания (О работе Александра Эткинда «Новый историзм, русская версия») // Новое литературное обозрение. № 47 (2001).

24. **Дмитриев 2009 –** *Дмитриев А.* Присвоение как конституирование, или О русском формализме и «неклассической» гуманитарной классике // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

25. **Добрушин, Кондратов 1961 –** *[Добрушин Р.]*[56]*, Кондратов А.* Биты, буквы, поэзия // Знание – сила. 1961. № 11.

26. **Егоров 1994 –** *Егоров Б.Ф.* Книги Ю.М.Лотмана о Пушкине // Русская литература. 1994. № 1.

27. **Егоров 1999 –** *Егоров Б.Ф.* Жизнь и творчество Ю.М.Лотмана. М.: Новое литературное обозрение, 1999.

28. **Живов 2009 –** *Живов В.* Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения // Новое литературное обозрение. № 98 (2009).

29. **Живов, Тимберлейк 1997 –** *Живов В.М., Тимберлейк А.* Расставаясь со структурализмом (тезисы для дискуссии) // Вопросы языкознания. 1997. № 3.

30. **Жолковский 1962 –** *Жолковский А.К.* Об усилении // Структурно-типологические исследования. М.: Издательство АН СССР, 1962.

[56] Имя Р.Л.Добрушина есть только в содержании номера, а над самой статьей поставлено имя одного А.М.Кондратова.

31. **Жолковский 1998 –** *Жолковский А.К.* Ж/Z–97 // Московско-тартуская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.

32. **Жолковский 2000 –** *Жолковский А.* Мемуарные виньетки и другие non-fictions // Urbi: Литературный альманах. Выпуск тридцатый. Серия «Новые записные книжки» (5). СПб.: АОЗТ «Журнал "Звезда"», 2000.

33. **Жолковский, Щеглов 1962 –** *Жолковский А., Щеглов Ю.* О возможностях построения структурной поэтики // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Издательство АН СССР, 1962.

34. **Жолковский, Щеглов 1967 –** *Жолковский А., Щеглов Ю.* Структурная поэтика – порождающая поэтика // Вопросы литературы. 1967. № 1.

35. **Жолковский, Щеглов 1976/1996 –** *Жолковский А.К., Щеглов Ю.К.* Основные понятия модели «Тема – ПВ – Текст» [1976] // *Жолковский А.К., Щеглов Ю.К.* Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. М.: Прогресс, 1996.

36. **Жолковский, Щеглов 1996 –** *Жолковский А.К., Щеглов Ю.К.* От авторов // *Жолковский А.К., Щеглов Ю.К.* Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. М.: Прогресс, 1996.

37. **Зализняк 1962a –** *Зализняк А.А.* О возможной связи между операционными понятиями синхронного описания и диахронией // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Издательство АН СССР, 1962.

38. **Зализняк 1962b –** *Зализняк А.А.* Регулирование уличного движения как знаковая система // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Издательство АН СССР, 1962.

39. **Зализняк, Иванов, Топоров 1962 –** *Зализняк А.А., Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* О возможности структурно-типологического изучения некоторых моделирующих семиотических систем // Структурно-типологические исследования. М.: Издательство АН СССР, 1962.

40. **Зенкин 1995 –** *Зенкин С.* Послесловие редактора [к публикации «Журнал "Метродор" и нонконформистская критика структуралистского литературоведения»] // Новое литературное обозрение. № 15 (1995).

41. **Зенкин 2001 –** *Зенкин С.* Филология в спорах о научности // Новое литературное обозрение. № 50 (2001).

42. **Зорин 2001 –** *Зорин А.* Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

43. **Зорин 2002 –** *Зорин А.* [Выступление на заседании «Forum AI», посвященном обсуждению книги: *Зорин А.* Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001] // Ab Imperio. 2002. № 1.

44. **Зорин 2003 –** *Зорин А.* Где сидит фазан…: Очерки последних лет. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

45. **Зорин 2004 –** *Зорин А.* Прогулка верхом в Москве в августе 1799 года (Из истории эмоциональной культуры) // Новое литературное обозрение. № 65 (2004).

46. **Иванов 1962 –** *[Иванов Вяч.Вс.]* Предисловие // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Издательство АН СССР, 1962.

47. **Иванов 1967 –** *Иванов Вяч.Вс.* О применении точных методов в литературоведении // Вопросы литературы. 1967. № 10.

48. **Иванов 1995 –** *Иванов Вяч.Вс.* Голубой зверь (Воспоминания) // Звезда. 1995. № 1–3.

49. **Иванов 1999 –** *Иванов Вяч.Вс.* Очерки по предыстории и истории семиотики // *Иванов Вяч.Вс.* Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. I. М.: Языки русской культуры, 1999.

50. **Иванов, Топоров 1958 –** *Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков. М.: Издательство АН СССР, 1958.

51. **Иванов, Топоров 1966 –** *Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Постановка задачи реконструкции текста и реконструкции знаковой системы // Структурная типология языков. М.: Наука, 1966.

52. **Калинин 2009 –** *Калинин И.* Тартуско-московская семиотическая школа: семиотическая модель культуры / культурная модель семиотики // Новое литературное обозрение. № 98 (2009).

53. **Каменский 2002 –** *Каменский А.* [Выступление на заседании «Forum AI», посвященном обсуждению книги: *Зорин А.* Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001] // Ab Imperio. 2002. № 1.

54. **Каспэ 2006 –** *Каспэ И.* Борьба со временем [Рец. на кн.: *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.–Toronto: Водолей Publishers, The University of Toronto, 2005] // Новое литературное обозрение. № 79 (2006).

55. **Ким Су Кван 2003 –** *Ким Су Кван.* Основные аспекты творческой эволюции Ю.М.Лотмана: «иконичность», «пространственность», «мифологичность», «личностность». М.: Новое литературное обозрение, 2003.

56. **Киселева 1998 –** *Киселева Л.Н.* Ю.М.Лотман: от истории литературы к семиотике культуры (о границах лотмановской семиосферы) // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. VI. Проблемы границы в культуре. Тарту: Кафедра русской литературы Тартуского университета, 1998.

57. **Козлов 1992 –** *Козлов С.* Майкл Риффатерр как теоретик литературы // Новое литературное обозрение. № 1 (1992).

58. **Козлов 1993 –** *Козлов С.* Де Ман / Риффатерр: полемика в контексте биографии // Новое литературное обозрение. № 2 (1993).

59. **Козлов 1994 –** *Козлов С.* Методологический манифест Карло Гинзбурга в трех контекстах // Новое литературное обозрение. № 8 (1994).

60. **Козлов 1996 –** *Козлов С.* Интеллектуальные романы для постмодернистской России // Итоги. 1996. № 2.

61. **Козлов 1998a –** *Козлов С.* История идей / история интеллектуалов [Предисловие к подборке материалов «Интеллектуалы и сакральное»] // Новое литературное обозрение. № 31 (1998).

62. **Козлов 1998b –** *Козлов С.* К преодолению одной фобии [Предисловие к публикации статьи К.Гирца «Идеология как культурная система»] // Новое литературное обозрение. № 29 (1998).

63. **Козлов 1998c –** *Козлов С.* От редактора [Предисловие к подборке материалов «Отклики на статью Михаила Берга «Гамбургский счет» («НЛО» № 25)] // Новое литературное обозрение. № 34 (1998).

64. **Козлов 2000a –** *Козлов С.* Джорджо Агамбен: философ, пришедший после // Новое литературное обозрение. № 44 (2000).

65. **Козлов 2000b –** *Козлов С.* На rendez-vous с «новым историзмом» // Новое литературное обозрение. № 42 (2000).

66. **Козлов 2000c –** *Козлов С.* О новой книге Джорджо Агамбена // Новое литературное обозрение. № 46 (2000).

67. **Козлов 2001a –** *Козлов С.* Наши «новые истористы». Заметки об одной тенденции // Новое литературное обозрение. № 50 (2001).

68. **Козлов 2001b –** *Козлов С.* От редактора [Предисловие к подборке материалов «Социология авторского права»] // Новое литературное обозрение. № 48 (2001).

69. **Козлов 2004 –** *Козлов С.* «Определенный способ заниматься наукой»: Карло Гинзбург и традиция // *Гинзбург К.* Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. М.: Новое издательство, 2004.

70. **Козлов, Дмитриев 2006 –** *Козлов С., Дмитриев А.* История филологии с прагматической точки зрения // Новое литературное обозрение. № 82 (2006).

71. **Колмогоров 1961a –** *Колмогоров А.Н.* Автоматы и жизнь // Техника – молодежи. 1961. № 10.

72. **Колмогоров 1961b –** *Колмогоров А.Н.* Автоматы и жизнь. [Окончание] // Техника – молодежи. 1961. № 11.

73. **Колмогоров 1994 –** *Колмогоров А.Н.* [Письмо поэту мехмата] / Публ. А.Штерна // Новое литературное обозрение. № 6 (1994).

74. **Колмогоров 1997 –** *Колмогоров А.Н.* Семиотические послания / Публ. В.А.Успенского // Новое литературное обозрение. № 24 (1997).

75. **Колмогоров, Прохоров 1963 –** *Колмогоров А.Н., Прохоров А.В.* О дольнике современной русской поэзии (Общая характеристика) // Вопросы языкознания. 1963. № 6.

76. **Конечный et al. 1989 –** *Конечный А.М., Мордерер В.Я., Парнис А.Е., Тименчик Р.Д.* Артистическое кабаре «Привал комедиантов» // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1988. М.: Наука, 1989.

77. **Котрелев 2006 –** *Котрелев Н.В.* Письмо в редакцию [Рец. на кн.: *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.–Toronto: Водолей Publishers, The University of Toronto, 2005] // Новое литературное обозрение. № 79 (2006).

78. **Круглый стол 2006 –** Культурные коды, социальные стратегии и литературные сценарии («круглый стол» «Нового литературного обозрения», 4 апреля 2006 года) // Новое литературное обозрение. № 82 (2006).

79. **Лавров 2006 –** *Лавров А.В.* «Поименно…» [Рец. на кн.: *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.–Toronto: Водолей Publishers, The University of Toronto, 2005] // Новое литературное обозрение. № 79 (2006).

80. **Ларионова 1999 –** *Ларионова Е.* Юбилейная пушкиниана (Некоторые библиографические размышления) // Новая русская книга. 1999. № 1.

81. **Левада 1964 –** *Левада Ю.А.* Точные методы в социальном исследовании // Вопросы философии. 1964. № 9.

82. **Левин 1994 –** *Левин Ю.И.* «За здоровье Ее Величества!..» // Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

83. **Лекомцев 1962 –** *Лекомцев Ю.К.* Изобразительное искусство и семиотика // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Издательство АН СССР, 1962.

84. **Лекомцева, Успенский 1962 –** *Лекомцева М.И., Успенский Б.А.* Гадание на игральных картах как семиотическая система // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Издательство АН СССР, 1962.

85. **Лотман 1962/2000 –** *Лотман Ю.М.* Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального подхода [1962] // *Лотман Ю.М.* Об искусстве. СПб.: Искусство–СПБ, 2000.

86. **Лотман 1963 –** *Лотман Ю.М.* О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры // Вопросы языкознания. 1963. № 3.

87. **Лотман 1964/1994 –** *Лотман Ю.М.* Лекции по структуральной поэтике [1964] // Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

88. **Лотман 1964/2000 –** *Лотман Ю.М.* Проблема знака в искусстве [1964] // *Лотман Ю.М.* Об искусстве. СПб.: Искусство–СПБ, 2000.

89. **Лотман 1967/2005 –** *Лотман Ю.М.* Литературоведение должно быть наукой [1967] // *Лотман Ю.М.* О русской литературе. СПб.: Искусство–СПБ, 2005.

90. **Лотман 1990/1994a –** *Лотман Ю.М.* Заметки о тартуских семиотических изданиях [1990] // Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

91. **Лотман 1990/1994b –** *Лотман Ю.М.* Зимние заметки о летних школах [1990] // Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

92. **Лотман 2003 –** *Лотман Ю.М.* Не-мемуары // *Лотман Ю.М.* Воспитание души. СПб.: Искусство–СПБ, 2003.

93. **Лотман 2006 –** *Лотман Ю.М.* Письма: 1940–1993. М.: Языки славянской культуры, 2006.

94. **Лотман, Успенский 2008 –** *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Переписка. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

95. **Лямина 2000 –** *Лямина Е.* [Рец. на кн.: *Проскурин О.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999] // Новая русская книга. 2000. № 1 (2).

96. **Майофис 2006 –** *М.М. [Майофис М.]* От редактора [Предисловие к рубрике «Книга как событие»] // Новое литературное обозрение. № 79 (2006).

97. **Мельчук 1995 –** *Мельчук И.А.* Русский язык в модели «Смысл ↔ Текст». М.–Вена: Школа «Языки русской культуры», Венский славистический альманах, 1995. (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 39.)

98. **Мельчук 1998 –** *Мельчук И.А.* Как начиналась математическая лингвистика // Очерки истории информатики в России. Новосибирск: Научно-исследовательский центр ОИГГМ СО РАН, 1998.

99. **Михайлик 2006 –** *Михайлик Е.* «Анна Ахматова в 1960-е годы»: комментарий как литературный прием [Рец. на кн.: *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.–Toronto: Водолей Publishers, The University of Toronto, 2005] // Новое литературное обозрение. № 79 (2006).

100. **Мицкевич 1961 –** *Мицкевич А.* Поэты и математика // Молодая гвардия. 1961. № 7.

101. **Моррис 1938/2001 –** *Моррис Ч.У.* Основания теории знаков [1938] // Семиотика: Антология. Изд. 2-е, испр. и доп. М.–Екатеринбург: Академический проект, Деловая книга, 2001.

102. **Неклюдов 1994 –** *Неклюдов С.Ю.* Осенние размышления выпускника летней школы // Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

103. **Обатнин 2002 –** *Обатнин Г.* Мы, филологи // Ab Imperio. 2002. № 1.

104. **Палиевский 1963/1979 –** *Палиевский П.В.* О структурализме в литературоведении [1963] // *Палиевский П.В.* Литература и теория. М.: Советская Россия, 1979.

105. **Панов 2001 –** *Панов С.* Скандалисты и новаторы [Рец. на кн.: *Проскурин О.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М.: ОГИ, 2000] // Новое литературное обозрение. № 47 (2001).

106. **Почепцов 2001 –** *Почепцов Г.Г.* Русская семиотика. М.–Киев: Рефл-бук, Ваклер, 2001.

107. **Проскурин 1999a –** *Проскурин О.* Конец золотого века (к вопросу о соотношении искусства и жизни) // Неприкосновенный запас. 1999. № 1 (3).

108. **Проскурин 1999b –** *Проскурин О.А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999.

109. **Проскурин 2000 –** *Проскурин О.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М.: ОГИ, 2000.

110. **Проскурин 2001 –** *Проскурин О.* История литературы и идеологические контексты. Почти методологические заметки по поводу одного отклика на книгу «Литературные скандалы пушкинской эпохи» // Новое литературное обозрение. № 50 (2001).

111. **Прохорова 1992 –** *Прохорова И.* К читателю [О задачах журнала] // Новое литературное обозрение. № 1 (1992).

112. **Прохорова 2001 –** *Прохорова И.* К читателю [О задачах «юбилейного» номера журнала] // Новое литературное обозрение. № 50 (2001).

113. **Прохорова 2003 –** *Прохорова И.* Приглашение к спору [Предисловие к тематическому номеру «Другие истории литературы»] // Новое литературное обозрение. № 59 (2003).

114. **Прохорова 2009 –** *Прохорова И.* Новая антропология культуры. Вступление на правах манифеста [Предисловие к тематическому номеру «Антропология закрытых обществ»] // Новое литературное обозрение. № 100 (2009).

115. **Пятигорский 1994 –** *Пятигорский А.М.* Заметки из 90-х о семиотике 60-х годов // Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

116. **Ревзин 1962a –** *Ревзин И.И.* Модели языка. М.: Издательство АН СССР, 1962.

117. **Ревзин 1962b –** *Ревзин И.И.* Совещание в г. Горьком, посвященное применению математических методов к изучению языка художественной литературы // Структурно-типологические исследования. М.: Издательство АН СССР, 1962.

118. **Ревзин 1965 –** *Ревзин И.* О целях структурного изучения художественного творчества // Вопросы литературы. 1965. № 6.

119. **Ревзин 1997 –** *Ревзин И.И.* Воспоминания / Публ. О.Г.Ревзиной // Из работ московского семиотического круга. М.: Языки русской культуры, 1997.

120. **Редакция AI 2002 –** *Редакция AI.* Мы, историки // Ab Imperio. 2002. № 1.

121. **Рейтблат 2001 –** *Рейтблат А.И.* «Видимо» (Постскриптум к рецензии Сергея Панова) // Новое литературное обозрение. № 47 (2001).

122. **Сегал 1993 –** *Сегал Д.* «Et in Arcadia Ego» вернулся: наследие московско-тартуской семиотики сегодня // Новое литературное обозрение. № 3 (1993).

123. **Столович 1994 –** *Столович Л.Н.* А.Ф.Лосев о семиотике в Тарту // Новое литературное обозрение. № 8 (1994).

124. **Тименчик 1984 –** *Тименчик Р.* Рижский эпизод в «Поэме без героя» Анны Ахматовой // Даугава. 1984. № 2.

125. **Тименчик 1989 –** *Тименчик Р.* Петр Петрович Потемкин // Родник (Рига). 1989. № 7.

126. **Тименчик 1997 –** *Тименчик Р.Д.* Чужое слово: атрибуция и интерпретация // Лотмановский сборник. Вып. 2. М.: ОГИ, РГГУ, 1997.

127. **Тименчик 1998 –** *Тименчик Р.* К вопросу о снова проклятом прошлом // Новое литературное обозрение. № 32 (1998).

128. **Тименчик 2005 –** *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.–Toronto: Водолей Publishers, The University of Toronto, 2005.

129. **Тименчик 2008a –** *Тименчик Р.* Воскрешенье одного воскресенья, или Как писать историю литературы // И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. М.: Новое издательство, 2008.

130. **Тименчик 2008b –** *Тименчик Р.Д.* Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века. М.–Иерусалим: Мосты культуры, Гешарим, 2008.

131. **Топоров 1962 –** *Топоров В.Н.* [Рец. на ст.: *Jakobson R.* Linguistics and Poetics // «Style in Language», ed. by Th.A.Sebeok. Massachusetts Institute of Technology, 1960] // Структурно-типологические исследования. М.: Издательство АН СССР, 1962.

132. **Топоров 1964 –** *Топоров В.Н.* К реконструкции некоторых мифологических представлений (на материале буддийского изобразительного искусства) // Народы Азии и Африки. 1964. № 3.

133. **Топоров 1994 –** *Топоров В.Н.* Вместо воспоминания // Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

134. **Тороп 1992 –** *Тороп П.* Тартуская школа как школа // В честь 70-летия профессора Ю.М.Лотмана = To Honour of Professor Yu.M.Lotman. Тарту: Эйдос, 1992.

135. **Уайт 1973/2002 –** *Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века [1973]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002.

136. **Успенский Б. 1962 –** *Успенский Б.А.* О семиотике искусства // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Издательство АН СССР, 1962.

137. **Успенский Б. 1981/1994 –** *Успенский Б.А.* К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы [1981] // Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

138. **Успенский В. 1990/1998 –** *Успенский В.А.* Серебряный век структурной, прикладной и математической лингвистики в СССР и В.Ю.Розенцвейг: Как это начиналось (заметки очевидца) [1990] // Очерки истории информатики в России. Новосибирск: Научно-исследовательский центр ОИГГМ СО РАН, 1998.

139. **Успенский В. 1995 –** *Успенский В.А.* Прогулки с Лотманом и вторичное моделирование // Лотмановский сборник. Вып. 1. М.: ИЦ – Гарант, 1995.

140. **Успенский В. 1997 –** *Успенский В.А.* Предварение для читателей «Нового литературного обозрения» к семиотическим посланиям Андрея Николаевича Колмогорова // Новое литературное обозрение. № 24 (1997).

141. **Хапаева 2005 –** *Хапаева Д.* Герцоги республики в эпоху переводов: Гуманитарные науки и революция понятий. М.: Новое литературное обозрение, 2005.

142. **Хапаева 2006 –** *Хапаева Д.* Сноска в семьсот страниц [Рец. на кн.: *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.–Toronto: Водолей Publishers, The University of Toronto, 2005] // Новое литературное обозрение. № 79 (2006).

143. **Цапина 2002 –** *Цапина О.* [Выступление на заседании «Forum AI», посвященном обсуждению книги: *Зорин А.* Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001] // Ab Imperio. 2002. № 1.

144. **Цивьян 2006 –** *Цивьян Ю.* Две реплики [Рец. на кн.: *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.–Toronto: Водолей Publishers, The University of Toronto, 2005] // Новое литературное обозрение. № 79 (2006).

145. **Чернов 1982 –** *Чернов И.* Опыт введения в систему Лотмана // Таллин. 1982. № 3.

146. **Шрейдер 1993 –** *Шрейдер Ю.* Культура как фактор свободы // Новый мир. 1993. № 1.

147. **Щеглов 1962a –** *Щеглов Ю.К.* К построению структурной модели новелл о Шерлоке Холмсе // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Издательство АН СССР, 1962.

148. **Щеглов 1962b –** *Щеглов Ю.К.* Некоторые черты структуры «Метаморфоз» Овидия // Структурно-типологические исследования. М.: Издательство АН СССР, 1962.

149. **Щеглов 1989/1996 –** *Щеглов Ю.К.* Введение. О порождающем подходе к тематике: поэтика выразительности и современная критическая теория [1989] // *Жолковский А.К., Щеглов Ю.К.* Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. М.: Прогресс, 1996.

150. **Эберт 2003 –** *Эберт К.* Семиотика на распутье. Достижения и пределы дуалистической модели культуры Лотмана/Успенского // Вопросы философии. 2003. № 7.

151. **Эко 1990/1996 –** *Эко У.* Предисловие к английскому изданию [1990] // *Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 1996.

152. **Эткинд 2001a –** *Эткинд А.* Два года спустя // Новое литературное обозрение. № 47 (2001).

153. **Эткинд 2001b –** *Эткинд А.* Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. № 47 (2001).

154. **Эткинд 2002 –** *Эткинд А.* Очки для двух голов // Ab Imperio. 2002. № 1.

155. **Эткинд 2006 –** *Эткинд А.* Форма нон-финито [Рец. на кн.: *Тименчик Р.Д.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.–Toronto: Водолей Publishers, The University of Toronto, 2005] // Новое литературное обозрение. № 79 (2006).

156. **Culler 1977 –** *Culler J.* Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. London–Henley: Routledge & Kegan Paul, 1977.

157. **Grzybek 1994 –** *Grzybek P.* The Concept of ‘Model’ in Soviet Semiotics // Russian Literature. 1994. Vol. 36. № 3.

158. **Kristeva 1994 –** *Kristeva J.* On Yury Lotman // Publications of the Modern Language Association of America. 1994. Vol. 109. № 3.

159. **Seyffert 1985 –** *Seyffert P.* Soviet Literary Structuralism. Background. Debate. Issues. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, Inc., 1985.

160. **Shukman 1977a –** *Shukman A.* Jurij Lotman and the Semiotics of Culture // Russian Literature. 1977. Vol. 5. № 1.

161. **Shukman 1977b –** *Shukman A.* Literature and Semiotics. A Study of the Writings of Yu.M.Lotman. Amsterdam–New-York–Oxford: North-Holland Publishing Company, 1977. (Meaning and Art. A Series of Books on Poetics, Theory of Literature and Related Fields. Vol. 1.)

162. **Veeser 1989 –** *Veeser H.A.* Introduction // The New Historicism / Ed. by H. Aram Veeser. N.-Y.–L.: Routledge, 1989.

163. **Whittaker 2002 –** *Whittaker C.H.* [Выступление на заседании «Forum AI», посвященном обсуждению книги: *Зорин А.* Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001] // Ab Imperio. 2002. № 1.

164. **Wortman 2002 –** *Wortman R.* [Выступление на заседании «Forum AI», посвященном обсуждению книги: *Зорин А.* Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001] // Ab Imperio. 2002. № 1.